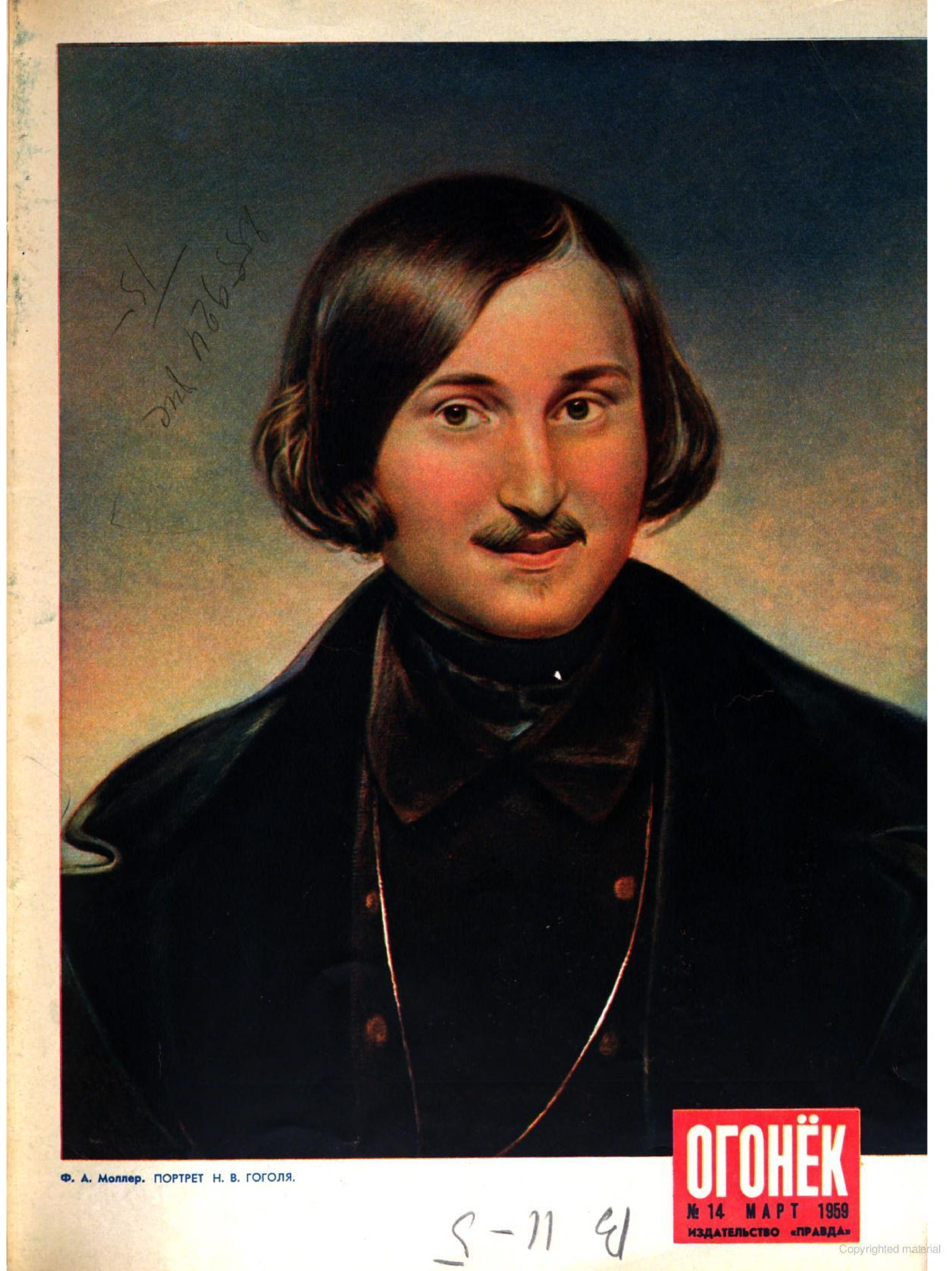
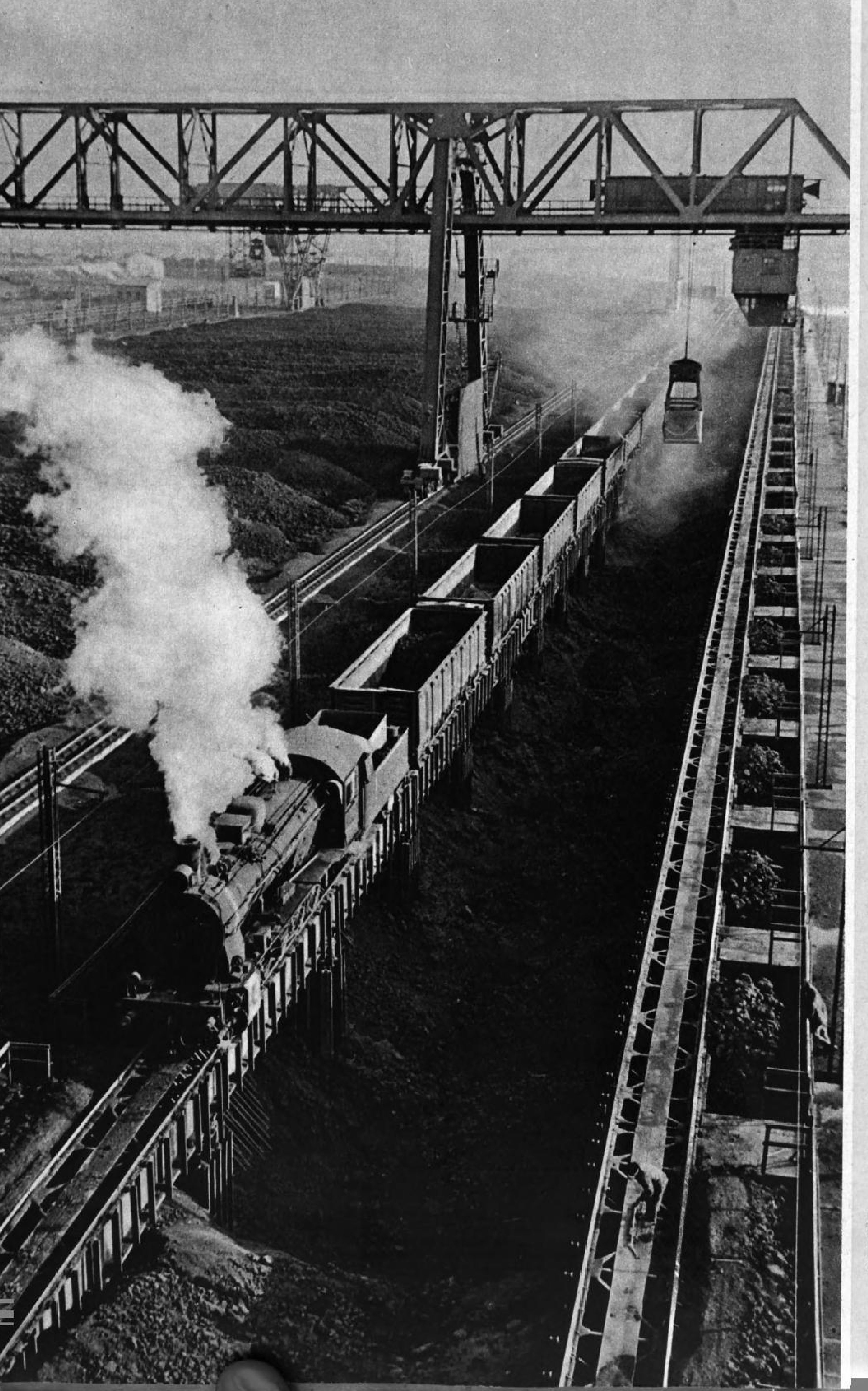


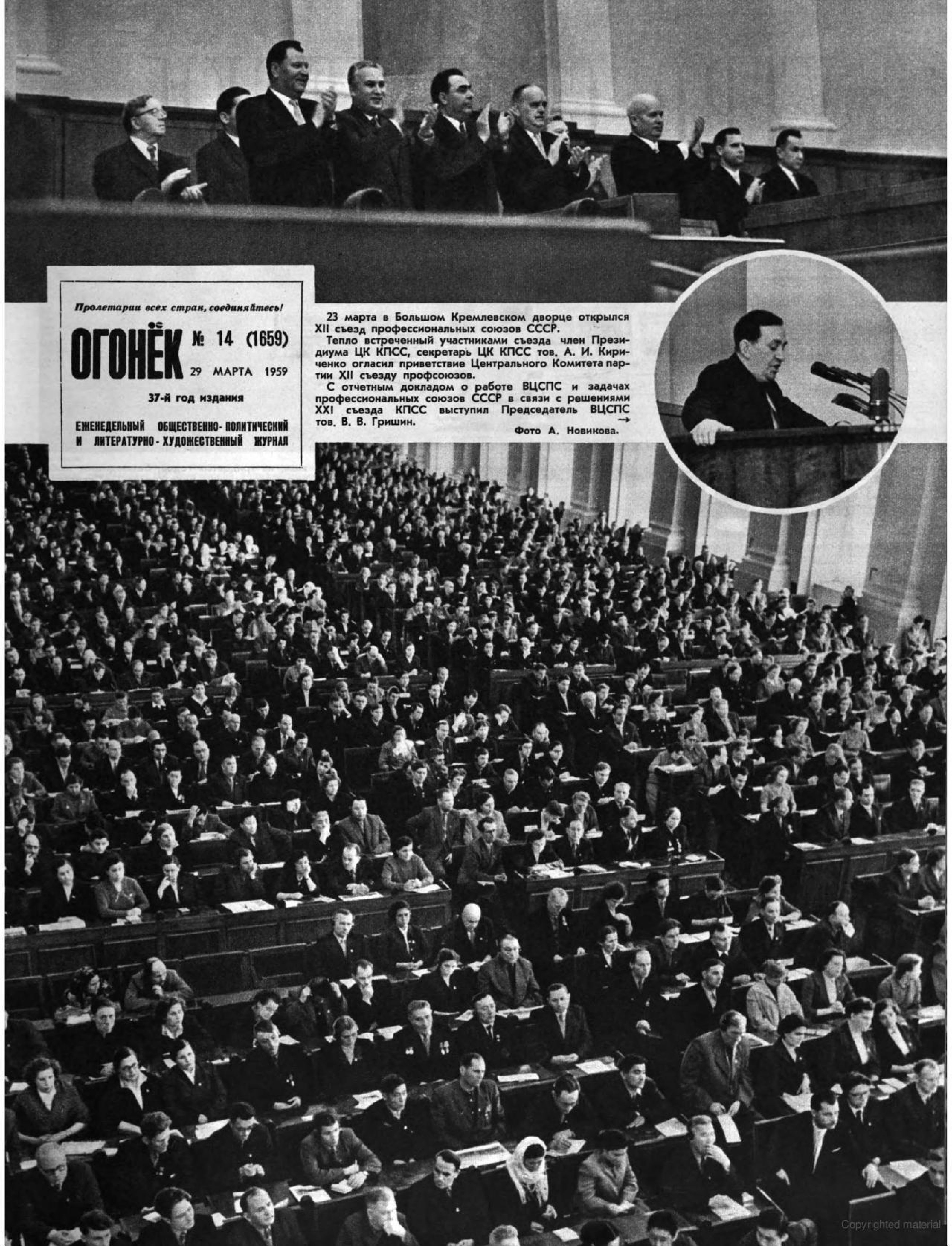
Ф. А. Моллер. ПОРТРЕТ Н. В. ГОГОЛЯ.

ОГОНЁК
№ 14 МАРТ 1959
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



Южный Горнообогатительный комбинат в Кривом Роге. Отгрузка горячего агломерата.
Фото Н. Наумова и Ю. Трушина.

На последней странице обложки: Уральский вагоностроительный завод в Нижнем Тагиле. У электросталеплавильной печи.
Фото Г. Самсонова.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОГОНЁК № 14 (1659)

29 МАРТА 1959

37-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

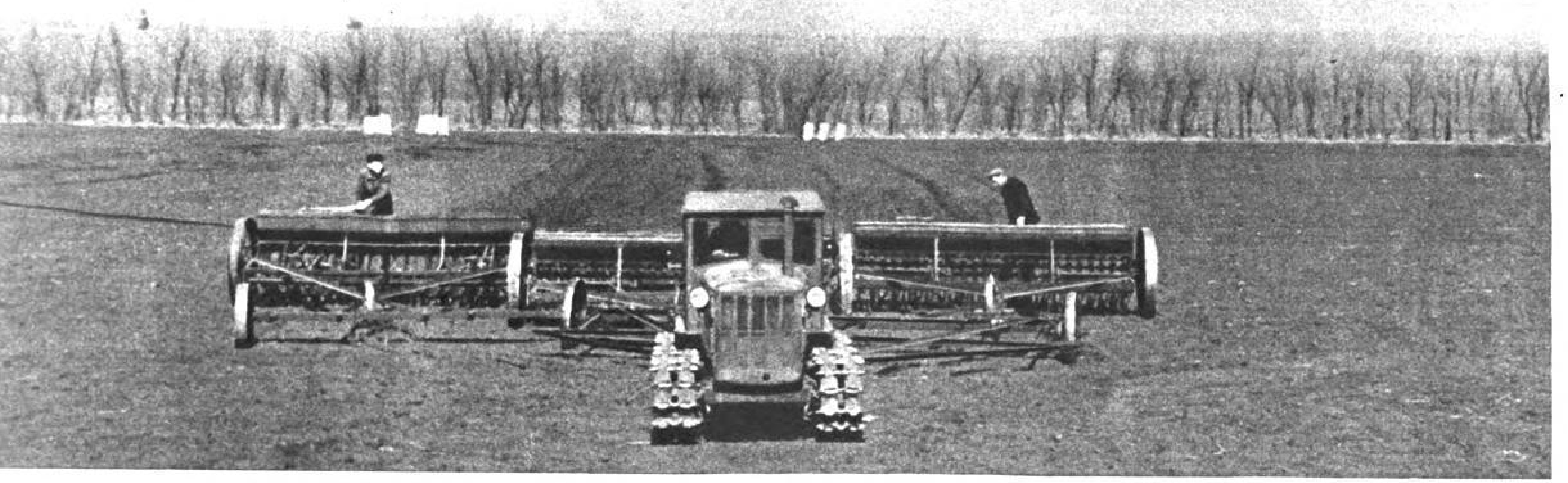
23 марта в Большом Кремлевском дворце открылся XII съезд профессиональных союзов СССР.

Тепло встреченный участниками съезда член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. А. И. Кириченко огласил приветствие Центрального Комитета партии XII съезду профсоюзов.

С отчетным докладом о работе ВЦСПС и задачах профессиональных союзов СССР в связи с решениями XXI съезда КПСС выступил Председатель ВЦСПС тов. В. В. Гришин. →

Фото А. Новикова.

УТРО СЕМИЛЕТКИ



Юг Украины. Настали дни весеннего сева. На полях колхоза имени Калинина, в Березовском районе, Одесской области.

Фото А. Узляна.



Заместитель бригадира трактористов Н. Д. Емельяненко вручает трактористу В. П. Сапожникову новое задание.

Тепло на весеннем солнышке! Семидесятидвухлетний колхозный сторож И. И. Косыга вышел с внучкой Валей и внуком Виталием на двор почитать газету.



Нетерпеливое солнце сгоняет с полей остатки снегов, и широчайший плацдарм наступления открывается взору советского земледельца.

На беглый взгляд—это знакомый плацдарм. Не целина — обжитые земли. Но именно на этих землях — частью старопахотных, частью освоенных только вчера — предстоит совершить подвиг, который немногим уступит подвигам покорителей целины.

В прошлом году — и об этом с деловитой скупостью сообщало Центральное статистическое управление — валовой сбор зерна в стране достиг восьми с половиной миллиардов пудов. Восемь с половиной миллиардов пудов, и не «биологического», а амбарного урожая — такого количества хлеба еще никогда не получала за год наша Родина! Так сколь же смелы, сколь уверены в исполинских силах своих советские люди, если, начиная семилетку, они собираются перешагнуть и через этот рубеж!

Не распашка новых земель, а повышение урожайности — вот теперь главный и решающий источник роста валовых сборов зерна. Новое направление главного удара указал советским земледельцам XXI съезд партии, и первая весна семилетки началась как весна высокой агрономической культуры. В авангард наступления выдвинулись умные, смелые, деловые мастера урожая, оснащенные всеми родами оружия: от дальнобойных — правильных севооборотов — до орудий прямой наводки — отменных семян, удобрений, сжатых сроков и отличного качества.

Сев идет, но человеку, пришедшему, скажем, из тридцатых годов, безлюдными покажутся сегодняшние поля Украины и Северного Кавказа.

— Да что же это так мало народу в поле? — с тревогой спросил бы у сегодняшнего земледельца человек тридцатых годов.

— В том-то и счастье, что мало,— ответил бы сегодняшний земледелец.— В том-то и счастье! Дешевле будет хлеб...

Да, от большого хлеба к большому хлебу шагает нынче деревня, и при этом шагает она к хлебу дешевому. Давно ли, кажется, на Кубани соревновались гектарники — люди, которые вручную растили кукурузу на гектаре земли. Прошло десятилетие, и новое слово, гордое слово — стогектарник — звучит над весенними полями Юга. Стогектарник! Еще вчера их было совсем немного, и страна во весь голос говорила о запевалах — Александре Гиталове и Николае Мануковском. Сегодня на Днепропетровщине, под Херсоном, на Одесщине, в Крыму, на Кубани, под Ставрополем тысячи и тысячи трактористов вышли в поле с уроком: обработать сто — полтораста гектаров на брата без всякого ручного труда! Дешев будет хлеб семилетки...

Каждый весенний час расширяет фронт наступления. Все новые и новые районы вступают в сев. Пусть же отличный зачин Юга — а в южных районах Украины и Северного Кавказа уже успешно ведут полевые работы,— пусть он послужит вдохновляющим примером для всех тружеников колхозной деревни.

Ярко, празднично началось утро семилетки. Оно разгорится в настоящий солнечный день!

Молодая колхозница Александра Ткаченко учится мастерству у опытного садовода И. А. Кочерги.



День за днем



ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВЕНГРИИ. В торжествах по случаю 40-летия провозглашения Венгерской Советской Республики приняла участие советская делегация во главе с членом Президиума ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС А. Б. Аристовым.

На снимке: члены советской делегации вместе с первым секретарем ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Яношем Кадаром и председателем Венгерского революционного рабоче-крестьянского правительства Ференцом Мюннихом.

Фото МТИ.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ проходили на днях во Дворце спорта Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

Среди женщин лучших показателей добилась студентка Московского высшего технического училища Татьяна Лихарева, которая уже в четвертый раз завоевывает звание чемпионки Советского Союза.

У мужчин первое место занял Лев Михайлов.

В парном смешанном катании победителями вновь стали Нина и Станислав Жук.

На снимках: Татьяна Лихарева и Лев Михайлов.

Фото А. Бочинина.







К ПРЕБЫВАНИЮ В АНГЛИИ СОВЕТСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ. Руководитель делегации М. А. Суслов беседует с членом английского парламента, одним из лидеров лейбористской партии Эньюрином Бивеном в Лондоне.

На днях делегация возвратилась в Москву.



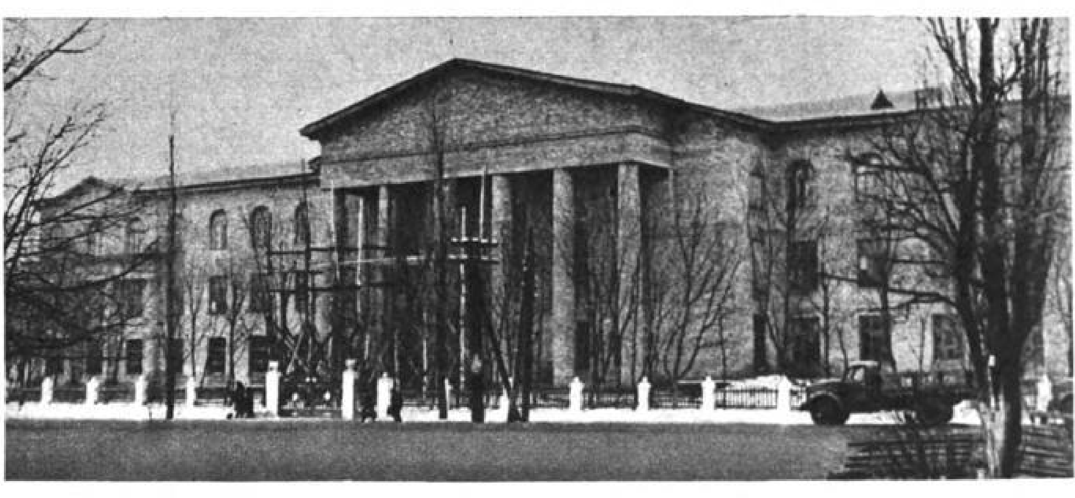


В СЕЛЕ ШЕВЧЕНКОВО (б. КИРИЛЛОВКА), Ольшанского района, Черкасской области, сохранилась хата дьячка, в которой обучался грамоте великий украинский поэт Тарас Шевченко.

Сейчас в этом селе закончено строительство нового здания гидромелиоративного техникума, в котором обучается 350 юношей и девушек.

На снимках: хата дьячка; новое здание техникума.

Фото В. Стрекаля и В. Олейныка.





ОЧЕРЕДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ АРКТИКИ отправилась на днях из Москвы. В Ледовитом океане будет открыта дрейфующая станция «Северный полюс — 8».

На снимке: на аэродроме в Москве незадолго до вылета — летчики М. Г. Завьялов, А. А. Каш, А. С. Поляков, командир летного отряда П. П. Москаленко, летчик Я. Я. Дмитриев, инженер А. Л. Хейфец, летчик М. П. Ступишин.

Фото А. Бочинина.

СПЕКТАКЛИ СОФИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Ст. МАКЕДОНСКОГО пользуются большим успехом у советских зрителей.

Москвичи тепло приняли болгарские оперетты «Молодость маэстро» В. Райчева и «Бунтарская песня» Г. Златева-Черкина, а также «Прекрасную Елену» Ж. Оффенбаха и «Если бы я был королем» А. Адана.

Софийский театр продолжил свои гастроли в Ленинграде.

На снимке: сцена из спектакля «Молодость маэстро». Справа налево: Кристина — Л. Кисева, известный болгарский композитор маэстро Георгий Атанасов — Л. Бодуров, Камелия — П. Ламбринова.

Фото А. Гладштейна.



НАРОД

П. ДЕМЧЕНКО

Тревожная весть с быстротой молнии облетела Багдад вечером 8 марта: в Мосуле вспыхнул контрреволюционный мятеж. Багдадское радио передало правительственный декрет о смещении главаря мятежников полковника Шаввафа с поста командира пятой бригады. Одновременно по всей стране было введено чрезвычайное положение.

Абдель Керим Касем выступает перед участниками демонстрации протеста против мосульского заговора с балкона здания министерства обороны 9 марта 1959 года.



В Мосуле восстановлен порядок. На снимке — солдатский патруль на улицах города.

СИЛЬНЕЕ заговора

ПРОВАЛ МОСУЛЬСКОГО МЯТЕЖА

Карикатура в одной из иракских газет. Надпись гласит: «Народ сильнее любого заговора».

Мосул. Народный отряд, состоящий из курдов и арабов.





12 марта в Багдаде тысячи людей собрались, чтобы проводить в последний путь выдающегося иракского патриота Камель эль-Казанчи, расстрелянного предателями.

Неспокойной была эта ночь в иракской столице. До рассвета не смыкали глаз патриоты Багдада. Через каждые сто — двести метров на улицах расположились рабочие и молодежные посты. Специальные отряды охраняли мосты через Тигр, проверяли багажники автомашин, документы у запоздалых прохожих. Люди знали, что агенты заговорщиков действуют



Неделя Алжира... В эти дни, с 30 марта по 7 апреля, мысли и сердца советских людей будут обращены к алжирскому народу, который ведет мужественную борьбу за независимость своей многострадальной родины, за лучшее будущее. Советский народ с глубоким сочувствием относится к справедливой борьбе алжирских патриотов.

Стремясь удержать в своих руках плодородные земли и несметные сокровища недр Алжира, колонизаторы навязали алжирскому народу войну. Они превращают в развалины и пепел алжирские селения, шлют в Алжир все новые и новые воинские части. Массовые казни, насильственное переселение жителей целых районов — ни перед чем не останавливаются колонизаторы, чтобы погасить пламя освободительной борьбы.

Но колонизаторам не поставить алжирский народ на колени. В священной войне за свободу патриоты пользуются поддержкой всего народа Алжира. Они знают, что им сочувствует, их поддерживает все прогрессивное человечество. От оазисов Юга и до горных хребтов Кабилии по всему Алжиру гремит единодушный клич: «Борьба до победы, до полного освобождения!»

В. ГОНЧАРОВ

Одно из самых примечательных зданий в городе Алжире — старинный дворец, принадлежавший алжирским правителям — деям. Последним хозяином этого дворца был дей Хуссейн. Однажды, возмущенный наглыми притязаниями французского консула Деваля, явно провоцировавшего конфликт, Хуссейн не сдержался и дал ему пощечину. Эта пощечина послужила предлогом для посылки в Алжир французского экспедиционного корпуса. Было это в 1827 году. И вот уже более столетия в старинном дворце хозяйничают французские генерал-губернаторы. Здесь устраивали пышные рауты и обсуждали планы военных операций нынешний лидер реакционной французской партии ЮНР Жак Сустель, и социалист Робер Лакост, и один из главарей военного мятежа в Алжире, генерал Салан. Здесь бесновались парашютисты фашиствующего генерала Массю.

Сейчас в этом дворце можно видеть человека с квадратным лицом, бегающим взглядом и усами фехтовальщика. Этот человек по имени Поль Делуврие, носящий звание «генерального делегата французского правительства в Алжире», не является ни военным, ни политиком. Он «крупный специалист по экономическим и финансовым вопросам», как характеризует его парижская печать.

Недавно Поль Делуврие, «человек Ротшильдов», в прошлом служивший в министерстве финансов, а затем в так называемом «Европейском объединении угля и стали», созвал совещание в старинном дворце деев под циничной вывеской «Высшего совета по осуществлению плана экономического развития Алжира». На нем, кроме военных, без которых в Алжире сейчас не обходится ни одно мероприятие колонизаторов, присутствовали представители высшей французской финансовой олигархии, в том числе и сам глава «Ассоциации французских предпринимателей» Жорж Вилье.

Речь Делуврие приятно взволновала присутствующих. Он говорил о несметных запасах нефти в Хасси Мессауде, о многих миллиардах кубометров природного газа, обнаруженных в Хасси Эль-Мир. Медь, железо, урановая руда лежат в районе Уэнза...

Но совещание закончилось неожиданно. В самый его разгар раздался телефонный звонок. Присутствовавшему во дворце генералу Шалю, новому командующему французской оккупационной армией в Алжире, сообщили об «адской машине», обнаруженной войсками безопасности. Это сообщение, переполошившее участников совещания, напомнило о простой и суровой истине: о том, что в Алжире идет война, о том, что алжирцы ненавидят своих угнетателей, о том, что Поль Делуврие и прочие распоряжаются тем, что им не принадлежит, что они хозяйничают в чужом доме.

Подлинные хозяева страны — алжирские патриоты — все решительнее напоминают об этом. Их боевые вылазки все чаще происходят в самом городе Алжире, под носом генерала Шаля. А уже в восьмидесяти километрах от столицы страны начинается фронт, места ожесточенной и кровопролитной войны, в которой все больше увязают войска оккупантов.

Временное правительство Алжирской Республики неоднократно предлагало Франции начать переговоры, которые положили бы конец затяжной и кровопролитной войне. Французское правительство не идет на такие переговоры, требуя капитуляции алжирских патриотов.

Но патриоты не намерены сдаваться. В настоящее время национально-освободительная армия Алжира контролирует около половины всей территории страны. Что же касается населения Алжира, то, за исключением кучки предателей, весь народ выступает против колонизаторов. И в конечном счете народ, и никто другой, решит исход схватки между силами свободы и силами колониального порабощения.



Отряд воинов национально-освободительной армии на марше.



Для устрашения населения французские власти заставляют алжирцев возить по улицам трупы патриотов, зверски убитых полицией.

и здесь, в Багдаде, что только бдительность народа может сорвать их черные замыслы.

Девятого утром улицы столицы заполнили десятки тысяч негодующих демонстрантов, а в полдень стало известно, что мятеж провалился и Шаввcovered убит солдатами его же бригады. Народ ликовал.

В прессе западных стран немало писалось о подготовке заговора на севере Ирака. Было известно, что на сессии совета Багдадского пакта в Карачи разрабатывался план отторжения от Иракской Республики Курдистана и всей северной части страны, богатой нефтью, и свержения правительства Абдель Керим Касема. Иностранная агентура установила связь с местными феодалами, с деятелями старого режима, реакционными офицерами. Из-за границы началась переброска оружия, денег для реакционных групп.

Чтобы помочь патриотическим силам сорвать планы реакционеров, Национальный совет сторонников мира Ирака решил провести 6 марта в Мосуле День борьбы за мир. Это была грандиозная манифестация, в которой участвовало около двухсот тысяч человек. На грузовиках и автобусах прибыли представители курдских городов: Сулеймании, Эрбиля, Киркука. В трех поездах разместилась двухтысячная делегация Багдада. Заговорщики наметили выступление на пятницу, 6 марта, но демонстрация сторонников мира спутала им карты.

На рассвете с запада к Мосулу подошло бедуинское племя шаммаров. Это послужило сигналом для заговорщиков. Мелкие группы фашистских молодчиков, состоявшие в основном из сынков и телохранителей феодалов, а также приверженцев правосоциалистической партии БААС, стали нападать на дома прогрессивных деятелей, избивать их и уводить в здание Политического управления. Между тем ворвавшиеся в город бедуины грабили кафе и магазины.

Начавшая свои передачи из соседней страны самозванная радиостанция «Голос Мосула» не смогла сбить иракцев с толку. Горожане вместе с правительственными войсками дали отпор погромщикам и осадили городскую тюрьму. Особенное мужество проявили рабочие и студенты. Тюрьма была освобождена, но предатели иракского народа успели совершить кровавое злодеяние: расстрелять нескольких патриотов, среди которых был выдающийся иракский общественный деятель и борец за мир Камель эль-Казанчи.

В Мосуле, в поверженном штабе Шаввафа, сопровождавший меня офицер обратил внимание на хранившуюся здесь литературу. «Кто является колонизатором» — гласило заглавие одной брошюры. Авторы ее тужились доказать, что единственный колонизатор на земле — это... Советский Союз. Фальшивка была издана в Нью-Йорке. Шаввaф был верным слугой нефтяных королей и реакционеров. И хозяева заранее снабдили его не только литературой, но и деньгами и оружием. В штабе Народного ополчения мне показали переброшенные через границу винтовки, минометы и боеприпасы...

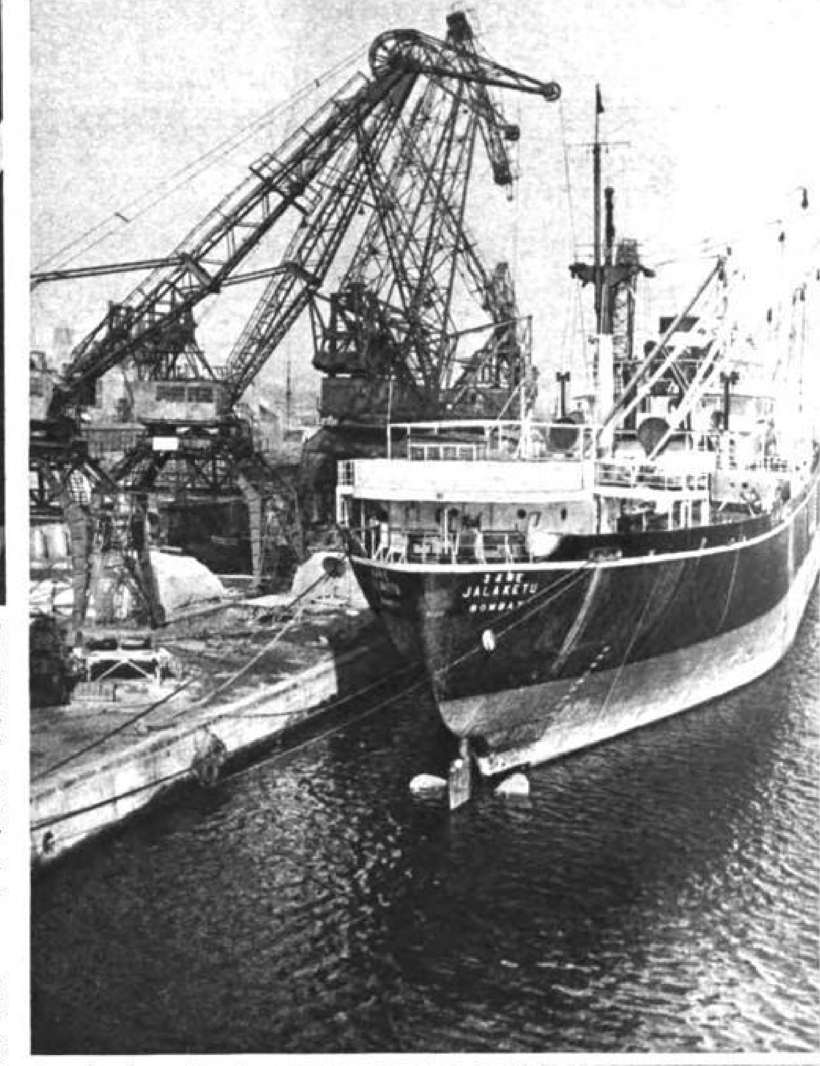
Из Мосула я уезжал поездом. На привокзальной площади четко вырисовывались в лучах заходящего солнца фигуры патруля: вооруженных винтовками солдат и двух ополченцев — араба и курда. Они стояли на страже безопасности своего города, как символ единства иракского народа, как символ его бдительности.

На Востоке говорят, что измена друга во сто крат больнее удара врага. Иракцам пришлось в эти дни испытать горечь измены. Некоторые руководители и органы печати соседних государств лили воду на мельницу империалистов. Но иракский народ не поверил лживым голосам. Мятеж, который многие месяцы тщательно готовился империалистами и арабскими реакционерами, потерпел крах. Иракцы еще теснее сплотились вокруг своего правительства.

Багдад.







НОВЫЕ МОДЕЛИ показало на днях в Доме культуры имени Чкалова ателье № 51 легкого женского платья Мосиндодежды. Заказчицы осматривали платья на манекенщицах и здесь же приобретали многие вещи.

В этом году художники и закройщицы ателье № 51 уже трижды выезжали в рабочие клубы с показом новых моделей.

На снимке: в фойе Дома культуры имени Чкалова.

Фото Р. Лихач.

ПОД ФЛАГАМИ МНОГИХ СТРАН приходят суда в Херсонский порт.

На снимке: индийское судно из Бомбея, доставившее чай, кофе и джут, заканчивает выгрузку.

Фото Ю. Лихуты (ТАСС).



НА СЕМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ НЕДАВНО ПЕРЕШЕЛ цех сборки кинескопов Львовского электролампового завода, на котором развернулось соревнование за звание бригады коммунистического труда.

К концу семилетки это предприятие станет одним из крупнейших в Европе.

Фото Р. Константиновой



В ГОРЫ КАВКАЗА, ТЯНЬ-ШАНЯ, АЛТАЯ, САЯН, ПОЛЯРНОГО УРАЛА в марте устремляются многие туристы-горнолыжники. Когда светит теплое, яркое солнце и склоны покрываются крепким настом, а по берегам бурлящих рек зацветает верба, люди с загорелыми лицами прокладывают новые и новые маршруты. Недавно московские туристы художники Б. Жутовский и Л. Гольдберг и математики Л. Скорняков и И. Шефаревич совершили интересный поход через перевалы Западного Кавказа.

На снимке: туристы на привале.

Фото Б. Жутовского.



ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛОЩАДЬ ПУШКИНА К КОНЦУ 1960 года. Здесь строится новый кинотеатр с двумя зрительными залами.

В малом зале предполагается демонстрировать хроникальные кинофильмы, в большом — широкоэкранном — художественные фильмы со стереофоническим воспроизведением звука.

Новый театр будет оборудован новейшей отечественной киноаппаратурой.

Вход в кинотеатр намечается прямо со сквера за памятником А. С. Пушкину по лестнице над проезжей частью улицы. Проект нового кинотеатра разработан в мастерской Моспроекта под руководством архитектора Ю. Н. Шевердяева.

В глубокой скорби провожали москвичи в последний путь выдающуюся русскую актрису, жену Антона Павловича Чехова — Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову.

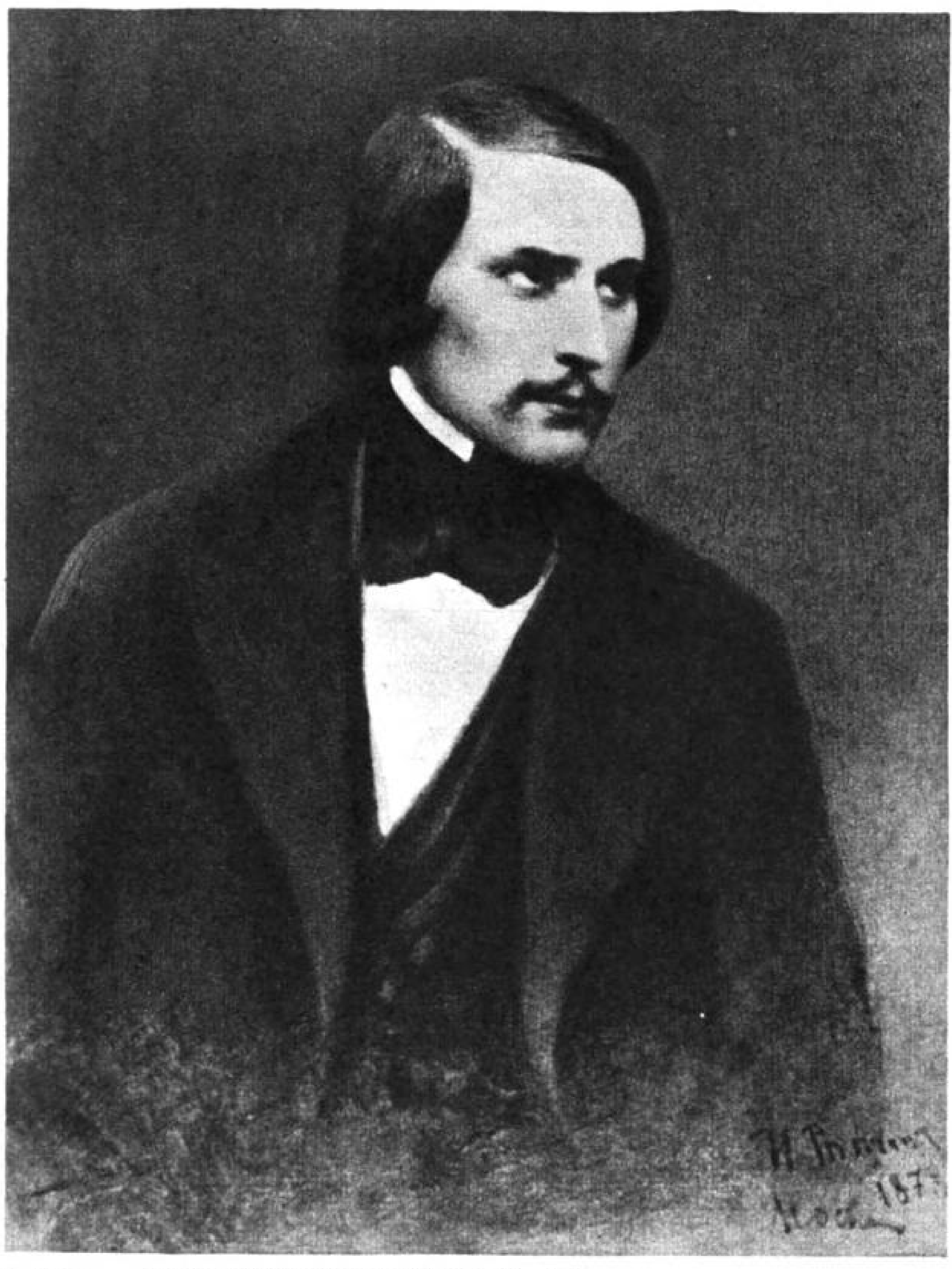
Ученица В. И. Немировича-Данченко, партнерша К. С. Станиславского, В. И. Качалова, И. М. Москвина, Книппер-Чехова создала на сцене МХАТа галерею замечательных сценических образов, которые послужили украшением истории русского театра.

Маша в «Трех сестрах», Раневская в «Вишневом саде», Елена Андреевна в «Дяде Ване», Настя в «На дне», Полина во «Врагах», Ирина в «Царе Федоре Иоанновиче» — да разве можно перечислить образы замечательных героинь, созданные Книппер-Чеховой за шестьдесят лет ее благородного и высокого служения искусству!



С ее именем связаны первые театральные успехи Чехова, Горького. И впоследствии все постановки пьес этих великих драматургов на сцене МХАТа всегда проходили при участии Ольги Леонардовны.

Лучший друг и советчик театральной молодежи, прекрасный, чуткий художник, большой, красивый человек — такой навсегда останется Ольга Леонардовна Книппер-Чехова в памяти народа.



И. Е. Репин. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ. 1878.



БЕССМЕРТНЫЙ Гоголь

Ольга ФОРШ

Вся наша страна вспоминает, что ровно сто пятьдесят лет тому назад, в 1809 году, 20 марта (по старому стилю), родился один из величайших наших писателей — Николай Васильевич Гоголь.

Недаром Белинский провозгласил, не колеблясь, что Гоголь — великий талант и собой открывает эпоху...

Белинский не ошибся. Гоголь нам становится все ближе, и все с новых сторон раскрывается его творчество перед нами. Прорастает оно и в будущее русской литературы.

Современниками Гоголя были знаменитые в то время Марлинский, Нарежный, Кукольник. Кроме искусствоведов, их имена сейчас редко кто и вспомнит.

А какой был гром, почет и успех, особенно у Кукольника! Про Гоголя же тогда только Белинский один и писал, что он гениален.

Теперь оказалось, что Гоголь нам все более нужен.

Ежегодно я перечитываю и «Мертвые души» и «Шинель» и всякий раз нахожу в них новые сокровища.

В чем же дело? Быть может, замысловатость сюжета? Но нет, сюжет у Гоголя прост, его передать можно всегда в двух словах. В двух словах, например, можно рассказать о том, как поссорились навсегда два мелкопоместных дворянина из-за того, что один другого назвал «гусаком». Но Гоголь втянул в эту ссору весь город, а за городом, гляди, и вся, как есть, Россия объята в своих буднях этой мелочью, этой ерундой.

И уже становится страшно, уже нечем дышать. Вместо воздуха всякая дрянь, и уже слышится авторское: «Скучно на этом свете, господа!».

Гоголь, за что у него ни возьмись, обязательно втянет тебя в текст, захватит чувства и воображение, заставит трепетать от дерзости своих гипербол и насладит душу бессмертной, не ослабляемой никакими юбилеями и датами музыкальной гоголевской речью.

«Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и все члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят... от всего».

Так писал Гоголь о создании украинских песен. И дальше — о самом существе поэзии песни: «Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцующих»; и о музыке песни: «Душа... и все существование раздвигается, расширяется до беспредельности».

...Детские годы Гоголь провел в маленьком родовом имении, в Васильевке, Полтавской губернии, недалеко от Сорочинец. Отец его, Василий Афанасьевич, был небогатым помещиком, страстным поклонником искусства. Любил театр, писал стихи и комедии и с успехом играл на сцене домашнего театра своего дальнего родственника сановника Трощинского. Мать, Марья Ивановна, очень одаренная женщина, прекрасная рассказчица, обладавшая большой фантазией, первая заложила в душу сына влечение к художественному вымыслу. Она была всего на шестнадцать лет старше сына и как товарищ вовлекалась во все его затеи. Дом Трощинского с богатой библиотекой развивал у Гоголя вкус к театру. Так с детства в нем были заложены основы будущего призвания.

После домашнего учителя-семинариста Гоголь прошел Полтавское уездное училище, откуда через два года поступил в «Нежинскую гимназию высших наук». Вначале товарищи приняли его недружелюбно. Болезненного, золотушного, малопонятного мальчика одни сторонились, другие высмеивали. Но он скоро всех покорил своими талантами. Остроумно писал рассказы и стихи в гимназических журналах «Звезда» и «Метеор литературы». После того, как Гоголь блестяще сыграл госпожу Простакову в «Недоросле», товарищи прочили ему театральное будущее.

Нежинская гимназия была прогрессивным заведением. Восстание декабристов и совсем рядом протекавшие события в Черниговском полку не могли пройти бесследно. Среди преподавателей в гимназии образовались два лагеря: прогрессивный и реакционный. Инспектор гимназии Белоусов, которого Гоголь очень почитал, был изгнан властями. После его удаления Гоголь записал: «У нас в Нежине так скучно стало, что не знаешь, куда деться»,— а о времени, когда слушал лекции Белоусова по праву, Гоголь говорил: «было над чем трудиться».

Влияние Белоусова на Гоголя было глубоко, что видно из одного письма Гоголя в конце 1827 года: «Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции... Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага... Исполнятся ли высокие мои начертания?»

Решив отдать все свои силы служению родине, мечтая о деятельности государственной, Гоголь по окончании гимназии едет в Петербург. Здесь мечталось ему осуществить все свои благородные помыслы.

Но Петербург надежд юноши не оправдал. Тщетными оказались все попытки не только служить, но и поступить актером на сцену. Неуспех ожидал и его первую попытку в стихах — «Ганц Кюхельгартен». Гоголь в состоянии полного упадка духа в 1829 году бежит за



Л. С. Бакст (1866—1924). Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «НОС».

границу, в Любек, «разгулять свою тоску», на деньги, предназначенные для уплаты процентов по заложенному имению матери. Невозможность «укрыться от себя» и жить вне России очень скоро гонит его обратно в Петербург.

Только в ноябре 1829 года Гоголь обретает наконец место мелкого чиновника, но радости от службы не получает. Слишком далека оказалась действительность от служения какому-то идеальному государству, созданному его воображением. Кроме того, властно влечет его к себе литература, и он начинает вновь писать, но уже не стихами, а прозой. Повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» увидела свет в «Отечественных записках» в 1830 году. Первый успех окрылил Гоголя. Он работает над книгой «Вечера на хуторе близ Диканьки», первая часть которой вышла в сентябре 1831 года.

Гоголь сближается с Жуковским, Дельвигом, Плетневым. Встреча с Пушкиным явилась для него великим событием. Гоголь поверил в себя — писателя. Пушкин написал про Гоголя: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился... Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов».

Оценка Пушкина утвердила Гоголя в том, что он наконец нашел путь служения родине. Пушкин стал для Гоголя старшим товарищем, руководителем, путеводной звездой, в которую он верил безгранично. Это Пушкин подскажет ему впоследствии сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ»...

В 1832 году Гоголь издает вторую часть «Вечеров». Поездка в том же году на родину в Васильевку вдохновляет его на новую работу. Напечатанные в 1835 году «Арабески» и «Миргород», по свидетельству Белинского, были «самым необыкновенным явлением в нашей литературе».

В 1836 году была закончена и поставлена на сцене комедия «Ревизор».

Гоголь был потрясен, увидав силу воздействия своего творческого слова на современников. Негаданно он оказался в центре страстей. Друзья превозносили его до небес. Но вдруг обнаружились и злейшие враги, которые за обнажение и разоблачение всеобъемлющей продажности и произвола николаевской России объявили его чуть ли не изменником родины. Его необыкновенная чувствительность и нежная душа не могли вынести всего, что обрушилось на его голову, и он опять бежал за границу в июле 1836 года.

В Риме Гоголь встретился со знаменитым нашим художником Александром Ивановым, который двадцать с лишним лет работал над созданием своей картины «Явление Мессии народу».

Родственность судьбы и характера обоих добровольных изгнанников России определя-



«ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА»



«СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»

А. М. Каневский. Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя.

лась самоотверженным служением русскому народу.

Здесь же, в Риме, писал Гоголь о гибели Пушкина:

«Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним,— восклицал Гоголь.— Нынешний труд мой («Мертвые души».— **О. Ф.**), внушенный им, его создание... я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо — и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!..»

Все же в мае 1842 года вышел из печати первый том «Мертвых душ». Книга была высоко оценена Белинским, Герценом и другими передовыми людьми. Но официальная реакционная печать ожесточенно бранила поэму и ее автора. В поэме, как и в «Ревизоре», снова было усмотрено «унижение русских людей». Гоголь с горечью вспоминает:

«...Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ»... то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Тут-то я увидел,— добавляет Гоголь,— в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света».

В другом месте Гоголь пишет про «Мертвые души»: «Пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или дух перевести бедному читателю, и что, по прочтении всей книги, кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на божий свет».

Гоголя, с детства религиозного, потрясла мысль, что он явился невольным проводником зла, и он торопится во втором томе «Мертвых душ» создать положительные типы вроде Костанжогло и других, что ему совершенно не удается. Гоголь попал в роковое для его дарования окружение светских людей, уязвленных его сатирой и равнодушных к его таланту. Гоголь, доведенный ими до жажды публичного покаяния и проповедничества наставительной добродетели, опубликовал книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Этой книгой Гоголь как бы зачеркивает самого себя как великого обличителя современной ему русской действительности. Эта книга вызвала горечь и осуждение даже его самых близких друзей.

Белинский, который первым признал гениальность Гоголя, который писал, что Гоголь — «поэт жизни действительной», обладающий талантом необыкновенным, сильным и высоким, что Гоголь становится на место, оставленное Пушкиным, ужаснулся «Перепиской» и переживал ее как великое горе. Он сказал про Гоголя: потерян человек для искусства.

Гоголь ничего не понял и увидел в пламенной, уничтожающей статье Белинского его личное озлобление. В письме к Белинскому Гоголь пишет, что тот взглянул на книгу глазами «рассерженного человека»...

Великий критик написал Гоголю то потрясающее, известное письмо, за одно прочтение которого в кружке петрашевцев молодой Достоевский был сослан на каторгу. «Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса».

Белинский хотел вернуть великого писателя своему народу: «Если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние».

Гоголь был не в состоянии до конца ни последовать совету Белинского, ни совершенно отвергнуть его. Роковая двойственность подтачивала его силы. В 1847 году Гоголь пишет «Авторскую исповедь» и затем снова берется за второй том «Мертвых душ». В 1848 году Гоголь возвращается в Россию и на горячо любимой родине не находит в себе сил сосредоточиться и завершить свои замыслы. Последним ударом для его и без того растерзанного сознания было сожжение им нового варианта второго тома «Мертвых душ».

После этого события через девять дней, утром 21 февраля 1852 года, Гоголь умер.

Наследие Гоголя велико и многообразно. У Гоголя, великого реалиста, нет беспочвенной, худосочной, абстрактной фантастики. Юмор его полнокровный и запоминается навеки, потому что не теряет образа.

У него кузнец Вакула, сидя на черте, «пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою... Все было видно; и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов... как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно, ведьма... много еще дряни встречали они».

Просматривая письма Гоголя, мы видим, как он заботился о точности образа. Так, будучи в Петербурге, Гоголь просил свою мать, чтобы та ему написала подробно об обычаях и нравах украинцев. Ему для работы были нужны и «описание полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов», платье девушки «до последней ленты», «обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей...»

От общения с Гоголем углубляется зрение, ширится слух, в восторге подымаются чувства. Гоголь одаряет каждого, кто сумеет его прочесть. Но читать его по-настоящему, не только сюжетно, а проникаясь ритмом его речи, обогащаясь сверкающими его красками, нелегко. Читать Гоголя надо научиться.

Встречаясь с Гоголем, я всегда чувствую благодарность за то обогащение, которое от него получаю. Вспоминается образ шестикрылого серафима из пушкинского «Пророка». Он касается поочередно уст, глаз, ушей—и мир видимого, слышимого и ощущаемого расширяется безмерно. «И угль, пылающий огнем» возгорается в сердце, и «жало мудрыя змеи» вместо слабого языка способно выразить доселе казавшееся несказуемым. Однако не всегда и не всех Гоголь может так обогатить, а лишь того, кто не читает книгу его равнодушно.

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА

Участник революционного движения сороковых годов прошлого века, идейный соратник Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, поэт-петрашевец А. Н. Плещеев известен как талантливый литературный критик. Его статьи и письма свидетельствуют о том, что уже в самом начале творческого пути Плещеев стал горячим почитателем Гоголя и поборником направления, данного им русской литературе. Подобное отношение к творчеству Гоголя, характерное не только для самого поэта, но и для передовых современников его, товарищей по кружку Петрашевского, было встречено враждебно реакционной прессой, и прежде всего Булгариным, который писал, что в статьях «Петербургской хроники» «все одно и то же — похвала Гоголю»...

Авторство Плещеева относительно анонимных статей «Петербургской хроники», напечатанных в газете «Русский инвалид» в 1846—1847 годах, подтверждается указанием самого поэта в его неопубликованном письме к В. Ф. Одоевскому от 16 января 1848 года. Принадлежность Плещееву «Петербургской хроники» устанавливается также тем, что большая часть некролога о В. Н. Майкове, опубликованная в фельетоне «Петербургской хроники» за 1847 год, включена во вступительную статью к «Критическим опытам» Валериана Майкова с указанием на Плещеева.

Мы публикуем выдержки из «Петербургской хроники» и литературных заметок А. Н. Плещеева в газете «Московские ведомости».

Л. ПУСТИЛЬНИК

«...Из всех созданий Гоголя величайшее есть «Мертвые души». Нигде русская жизнь не раскинулась так широко, здесь обнята она со всех сторон, и страшно ошибается тот, кто в этих лицах видит только провинциалов, в этом губернском городе — только губернский город. Эти провинциалы всюду, это наши знакомые, наши друзья, наши родственники, это мы сами, нам стоит только поглубже заглянуть в себя, чтоб найти многие признаки почтенных людей, изображенных поэтом. Не всякий сознается в этом и самому себе, не только другим, но, может быть, многие, узнав себя в этих лицах, делаются противниками таланта Гоголя.

Да, признаемся, встречая порицателей автора «Мертвых душ», мы часто радуемся в душе, потому что это служит для нас новым свидетельством его могущества, кажется новым торжеством гения.

...Давно ли число порицателей Гоголя далеко превосходило число его поклонников? Давно ли сыпались на него тысячи обвинений, одни нелепее других, которые он уничтожил в своем дивном произведении «Разъезд после представления новой комедии», и теперь только изредка слышится какой-нибудь охриплый голос, восстающий против направления, данного Гоголем русской литературе, и этот охриплый голос тотчас же заглушается энергичными протестами молодого поколения, обратившего на гениального юмориста полные ожидания очи; как он сам же говорит в «Мертвых душах»! Такова сила гения, таково влечение века: кто в состоянии противиться ему? Даже самые старики не осмеливаются больше спорить о таланте Гоголя, а довольствуются рассуждениями о степени вреда или пользы, приносимых подобного рода сочинениями».

«...Литература наша вышла после Гоголя и Белинского на истинный путь, изображает нам действительный мир и стремится к простоте и естественности, отбросив все ложные эффекты, все блестки и погремушки, которыми когда-то забавляли публику... Она служит для большинства проводником лучших идей, выработанных наукой и жизнью...»

«ШИНЕЛЬ» НА ЭКРАНЕ

Акакий Акакиевич стоит в ночном мраке и в ужасе озирается по сторонам. «Нет, лучше и не глядеть»,— думает он, возвращаясь домой с вечеринки, где сослуживцы «обмывали» его новую шинель. Он идет, петляя по заснеженной безлюдной площади, закрыв глаза, а когда открывает их, медленно поднимает голову, то видит: перед ним выросли зловещие фигуры бродяг. Акакий Акакиевич сторонится и попадает в глубокий сугроб. Пропойца, прищурившись, нагло манит его пальцем:

— А ведь шинель-то моя!

— Нет! Нет! — в страхе лепечет растерявшийся Акакий Акакиевич.

Грабители грубо хватают чиновника за воротник новенькой шинели...

— Пиротехник! Снегу! Снегу!..— кричит режиссер.

Мы узнаем в нем известного молодого киноактера Алексея Баталова. В «Шинели» он дебютирует как режиссер-постановщик.

— Вот обида! Даже петербургской погоды, и той нет! — досадливо прибавляет он.

Сцену ограбления Акакия Акакиевича (его играет артист Московского ТЮЗа Р. Быков) коллектив студии «Ленфильм» снимал в одном из старых уголков Васильевского острова.

— Нам хотелось создать картину,— говорит А. В. Баталов,— передающую на экране повесть Гоголя,— рассказ о судьбе маленького человека, который, на мгновение оторвавшись от своего жалкого места в жизни, был раздавлен окружающей его средой...

К. ЧЕРЕВКОВ



На съемках фильма «Шинель». В центре — артист Московского ТЮЗа Р. Быков.

Фото Б. Уткина.



Последняя сцена «Ревизора» в постановке Народного театра в Москве. 1872.

Через десятилетия...

Из театральных фотоархивов

Ю. ХОДЖАЕВ



О. О. Садовская—Фекла и В. А. Макшеев—Подколесин. «Женитьба». Малый театр. 1893. Из фондов Центрального театрального музея СССР имени А. А. Бахрушина.



В. Н. Давыдов — Городничий. Александринский театр. 1908.

Л. В. Собинов (слева) — Левко. «Майская ночь». Большой театр. 1909. Н. К. Черкасов — Осип. Государственный академический театр драмы имени Пушкина. Ленинград. 1952.



В мае 1836 года «Ревизор» был поставлен в Москве, на сцене Малого театра. Гоголь шутливо предлагал М. С. Щепкину десять ролей: «...какую хочет, пусть такую берет, даже может разом все играть». Щепкин выбрал роль Городничего.

На «Ревизоре» воспитывались целые поколения русских актеров.

В 1872 году «Ревизор» был сыгран в Москве, на Политехнической выставке, в Народном театре, организованном передовыми представителями интеллигенции для рабочих. «Народная публика сразу почувствовала, что ее понимают... что в этом наскоро сколоченном общими усилиями тесовом балагане живет неподдельное к ней уважение...» — вспоминал А. Ф. Федотов, режиссер и основатель Народного театра. Отдельные сцены из спектакля были впервые зафиксированы фотоаппаратом. Особый успех завоевал Н. Х. Рыбаков, игравший Землянику. Не удивительно, что министерство внутренних дел распорядилось запретить спектакль, мотивируя тем, что «Ревизор» производит «слишком сильное впечатление на публику, и притом не то, какое желательно правительству».

Значительны и интересны были спектакли Малого театра 80-х годов, в которых особенно выделялись В. А. Макшеев — Городничий, Н. А. Никулина, с искрометным темпераментом создавшая образ «провинциальной кокетки» Анны Андреевны, и М. П. Садовский — один из замечательных исполнителей Хлестакова в Малом. Тогда же к «Ревизору» вернулся и Александринский театр, поставивший его заново трижды: в 1886, 1897 и 1908 годах. Блестящие мастера театра — К. А. Варламов, В. Н. Давыдов, М. Г. Савина — создавали яркие образы, но «Ревизор» в спектаклях Александринского театра утратил свою разящую, обличительную силу, трактовался как «историческая» пьеса.

Инсценировка произведений Гоголя началась еще при жизни писателя. Были инсценированы «Ночь перед Рождеством», «Сорочинская ярмарка», «Тарас Бульба». Но особой популярностью пользуются, конечно, «Мертвые души», которые идут на сцене с 1842 года.

«Театр — великая школа, глубоко его назначение. Он целой толпе, целой тысяче народа за одним разом читает живой полезный урок», — говорил Гоголь. Десятки лет целые поколения молодежи учатся в «великой школе» — театре Гоголя, — учатся ненавидеть пошлость, лицемерие, невежество, учатся горячо любить родину, преклоняться перед ее славным прошлым, трудиться для ее великого будущего.

Рисовальщик из

Ник. СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ





Петр Иванович Бобчинский и Петр Иванович Добчинский.

В 1858 году в Москве, в издании литографии Бахмана, вышел в свет альбом рисунков к «Ревизору» художника Петра Боклевского. Технически альбом был издан весьма средне. «Рисовавший на камне» В. Пуговошников да и сама техника печати того времени не передали и доли блеска «волшебного карандаша» автора рисунков Петра Боклевского.

«Наследили!» — жаловался художник, который наряду с А. Агиным, творцом непревзойденных иллюстраций к гоголевским «Мертвым душам», вошел в историю как создатель зрительных образов героев «Ревизора».

Оба художника посвятили свое творчество служению литературе и, по существу, первыми сделали попытку вывести иллюстрацию из ее служебного положения в разряд самостоятельного искусства. Их работы помогали читателям глубже понять сущность созданных Гоголем образов.

Достаточно сказать, что вся сценическая история постановки «Ревизора» с появлением работ Боклевского прошла под несомненным его влиянием. Практиковались даже отдельные постановки специально «по рисункам Боклевского».

Разумеется, чтобы видеть «глазами Гоголя» созданных им героев, надо было изучить его творения, знать каждое движение мысли писателя. Петр Боклевский не только воплощает на бумаге образы «Ревизора». Современники рассказывают, что художник так мастерски читал бессмертную комедию, что никакой спектакль в изображении самых знаменитых актеров не давал такого яркого впечатления.

Несмотря на то, что художественное наследие Петра Боклевского довольно значительно (он делал иллюстрации к «Мертвым душам», «Женитьбе», «Старосветским помещикам» и другим произведениям Гоголя, иллюстрировал А. Н. Островского, И. С. Тургенева, А. Мельникова-Печерского), работа над образами «Ревизора» была делом жизни художника.

Даже технически несовершенное издание альбома 1858 года — «Галерея гоголевских типов, нарисованных Боклевским. Выпуск первый. «Ревизор». 14 листов» — имело громадный успех и выдержало несколько переизданий.

В 1863 году выходят новые иллюстрации Боклевского к «Ревизору» — альбом под названием «Бюрократический катехизис». Художник не ограничился на этот раз изображением одних только персонажей комедии, а дал пять отдельных сцен, наиболее характерных, заострив их сатирический смысл, их социальную сущность.

Отдельные сцены из «Ревизора» он озаглавливает: «Философия бюрократов», «Религия бюрократов», «Политика бюрократов», «Поэзия бюрократов» и «Общественные отношения бюрократов».

Время выхода альбома совпало с движением шестидесятых годов и как нельзя более соответствовало настроениям общественного проте-



Философия бюрократов.

города Рязани



Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга.

ста. Тираж альбома разошелся мгновенно, и ныне первое его издание представляет собой большую библиографическую редкость.

Когда через год Боклевский задумал переиздать альбом, царская цензура, с опозданием догадавшаяся о том, что под видом «бюрократов» художник наносит удар по всему полицейскому строю империи, запретила переиздание альбома в прежнем виде, выбросила всю «философию бюрократизма», и альбом вышел под скромным заглавием: «Сцены из Ревизора».

Над образами «Ревизора» Боклевский работает почти до конца жизни, все глубже и глубже проникая в сущность созданных Гоголем типов.

Художник не боится нарушить ставшие уже каноническими им же созданные портреты городничего, Хлестакова, Осипа и других. В более поздних своих работах Боклевский по-новому трактует их образы, создавая галерею, значительно более близкую к замыслам автора комедии.

Художник вовсе уходит от облика героев «Ревизора», нарисованных им в 1858 году: дошедшие до нас, но, к сожалению, до сих пор не изданные позднейшие «Типы «Ревизора» совсем не похожи на прежние, и талант художника проявился в них в наиболее зрелой форме.

Таких позднейших, неизданных тетрадей Петра Боклевского к «Ревизору» известно две.

Одна из них находится в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина в Москве, другая воспроизводится сейчас на страницах «Огонька» из собрания пишущего эти строки.

«Бахрушинская тетрадь» состоит из двенадцати рисунков — портретов героев комедии — и датирована 1877 годом. Публикуемые здесь портреты (их также двенадцать), по всей вероятности, относятся к девяностым годам прошлого века. Это окончательный вариант образов «Ревизора», сделанных художником незадолго перед смертью (он умер в 1897 году). Тетрадь была передана издательству А. Ф. Маркса, но по каким-то причинам оказалась неизданной, и оригинал ее был в 1933 году приобретен мною у одного из наследников издателя.

Несколько рисунков я уже пробовал опубликовать (журнал «Театр и драматургия», 1934 год, «Литературное наследство», 1952 год), но полностью эти замечательные рисунки появляются в «Огоньке» впервые.

С поразительным мастерством карандаш Петра Боклевского сделал эти рисунки. Рассматривая их, начинаешь понимать, почему искусство этого рисовальщика из города Рязани (Боклевский родился в Рязани в 1816 году) современники сравнивали с мастерством Карла Брюллова и Гаварни.

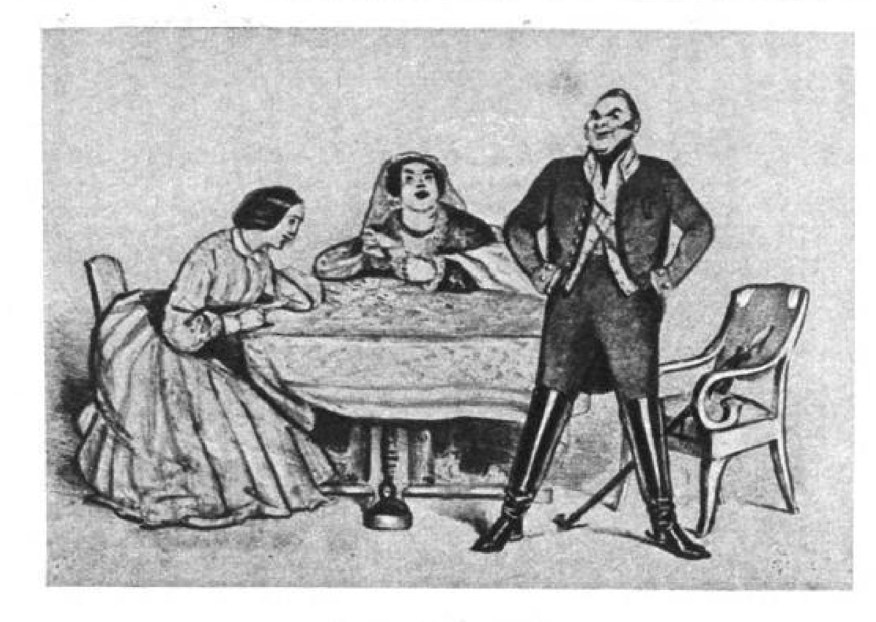
Присмотритесь хотя бы к образу Хлестакова. Ведь это же тот Хлестаков, которого изобразили на сцене сначала М. Чехов, а следом за ним Игорь Ильинский. Как не похож этот Хлестаков Боклевского на Хлестакова Дюра, о котором Гоголь писал, что он «ни на волос не понял, что такое Хлестаков»!

Образ этого героя «Ревизора», как «лица фантасмагорического», впервые можно усмотреть в рисунке Петра Боклевского.

Великолепным русским рисовальщиком, умным и острым, был художник из города Рязани Петр Михайлович Боклевский!

Перед нами последняя работа его над образами «Ревизора».

Нет, недаром карандаш Петра Боклевского называли «волшебным»!



Поэзия бюрократов.



Осип, слуга Хлестакова.



Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий.



Анна Андреевна, городничиха.



Марья Антоновна, дочь городничего.



Держиморда, квартальный



Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер.



Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья.



Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.



Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ.



ЛУЧШАЯ АКТЕРСКАЯ ШКОЛА

И. В. ИЛЬИНСКИЙ,
народный артист СССР

Обычно в каждой актерской биографии есть событие, которое становится этапом в формировании мастерства данного артиста, определенным рубежом в его творчестве.

Для моей судьбы такой решающей была работа над «Ревизором». И не только потому, что эта замечательная комедия дает бесконечный простор для фантазии актера, неисчерпаемые возможности создания образа, но и потому, что Гоголь в своих высказываниях о комедии, ее цели и задачах, в письмах и предуведомлениях артистам, в авторских комментариях создает определенную школу комедийной игры, очень близкую моим творческим устремлениям.

Надо сказать, что Гоголь — сам превосходный режиссер! Все его комедии написаны с учетом законов театра, с четким видением того, как это будет представлено на сцене. Гоголь не признавал пьес, созданных для чтения. Он писал М. П. Погодину: «Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела...»

Это ощущение театральности проистекало прежде всего из большой актерской одаренности Гоголя. Все современники Гоголя, его товарищи по Нежинской гимназии вспоминали, что он играл в школьных спектаклях изумительно, а впоследствии был выдающимся чтецом. Гоголь писал В. А. Жуковскому: «...Вы сами знаете, что я не был бы плохой актер».

Об этой очень важной стороне дарования великого писателя мы часто забываем или пренебрегаем ею и стараемся додумать за него вместо того, чтобы внимательно прочесть и вникнуть в написанное.

Чем иным можно объяснить стремление некоторых режиссеров «заострить» Гоголя, их старательные поиски «особой» формы спектакля, отнюдь не вытекающей из пьесы, и, конечно, неудачи, которыми неизменно заканчиваются все эти попытки?..

На первый взгляд «Ревизор» поражает обилием происшествий, гиперболизацией образов, сгущенностью положений, чрезмерностью происходящих событий. Но при тщательном, глубоком, вдумчивом проникновении в текст комедии, при аналитическом, исследовательском подходе к каждому образу, к поступкам, мыслям, словам героя становится ясно, что за кажущимися нам чрезвычайными происшествиями кроются реалистические картины жизни современной Гоголю царской России. За гиперболическими образами встают типичные представители казенно-бюрократического строя николаевской Руси с казнокрадством, взяточничеством, беззаконием. Встают все те, к кому обратил автор свой гневный эпиграф: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

Известно, что сюжет «Ревизора» волновал творческое воображение Пушкина. Этот же сюжет разрабатывал украинский писатель Квитко-Основьяненко. Происходило так потому, что произвол местных властей по всей России был безнаказанным и только мысль о чиновнике из Петербурга заставляла эти «власти» трепетать, наводила на них ужас и панику.

Поэтому так быстро и поверили все местные градоправители малоубедительному рассказу Бобчинского и Добчинского, давно известных в городе сплетников и болтунов, что они, как страшного суда, ждали ревизора и думали о нем.

Если прочесть комедию с этих позиций, внимательно все анализируя, то видишь, что никаких чрезвычайных происшествий в ней нет. И форма изложения событий психологически оправдана, глубоко продумана.

Начиная от знаков препинания в репликах действующих лиц, кончая цветом платья городничихи — все автором осмыслено, выверено.

Мне кажется, за свою сценическую историю «Ревизор» подчас неудачно воплощался на сцене именно потому, что постановщики его увлекались одной стороной дела: либо стремились глубже раскрыть содержание, забывая об острой, яркой, своеобразной и очень отточенной форме Гоголя, отчего спектакль получался неверным и скучным, либо видели только своеобразную форму, острые столкновения характеров и разрешали спектакль в водевильной манере,—тогда пропадало глубокое сатирическое значение комедии.

Признаюсь, на первых этапах своей работы над «Ревизором» я сам считал, что для воплощения Гоголя нужна особая манера игры, и придумывал «дополнительные» средства характеристики образов, различные «подчеркивающие» детали.

Впервые я стал играть Хлестакова сразу по вступлении в труппу Малого театра, в 1938 году. Мне еще свойственны были тогда некоторые элементы развлекательства, внешнего гротеска. Стремление к отточенности, заостренности образа выливалось в формальное решение отдельных сцен, а иногда и всего образа. Пятнадцать лет подряд я играл Хлестакова. За эти годы многое пересмотрел я в своем творчестве...

Во втором акте «Ревизора» — в сцене, которая происходит в гостинице,— Хлестаков, отослав Осипа за обедом, ждет его возвращения. Трудно было заполнить необходимую по сюжету длинную паузу, а монолог здесь короткий. И я, в душе считая, что Гоголь не продумал всех обстоятельств, начинал занимать зрителя замысловатыми переходами по номеру, суетней... От этого совершенно пропадала ремарка Гоголя: «Насвистывает сначала из «Роберта», потом: «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се, ни то».

На одном из спектаклей я плохо себя чувствовал, меньше двигался и в этой сцене тупо сидел за столом и свистел, как указано в ремарке. Эффект был совершенно неожиданный. Действительно, когда я, с трудом выпуская из себя свист, перехожу от одной мелодии к другой, а потом уж сам не знаю, что начинаю свистеть, я привлекал внимание зрителя к своему внутреннему состоянию. Он начинал верить, что Хлестаков, подгоняемый голодом, слонялся по улицам города, осматривая аппетитные прилавки лавчонок, облизывал ссохшиеся от голода губы, глотая слюну, и теперь не может даже сосредоточиться ни на чем, так как голод дошел до предела!..

Перед этой сценой Хлестаков приказывает Осипу спуститься вниз к хозяину, потребовать от него обед.

Казалось бы, совершенно ясно, что мне в данном случае нужно делать: добиваться от Осипа немедленного и беспрекословного выполнения приказа. Но вчитаемся в авторские ремарки. «Хлестаков (ходит и разнообразно сжимает свои губы. Наконец говорит громким и решительным голосом): — Послушай, эй, Осип!» Перед словами «Ты ступай туда» ремарка: «громким, но не столь решительным голосом», а затем «голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе».

И вот уже совершенно по-иному звучит текст и совершенно иная задача встает перед актером. Здесь автор подсказывает даже внешние средства актерской выразительности, причем средства сценически убедительные и психологически оправданные. Теперь актер в свои слова вкладывает иной смысл. Это уже не приказание, а всего лишь неуверенная, жалостливая просьба человека, ничтожного, пустого и глупого, не привыкшего обдумывать свое положение и совершенно растерявшегося от невзгод, обрушившихся на него.

Вот тогда-то я убедился, как важно доверять Гоголю и ничего не играть сверх предусмотренного им.

Отказываясь от внешней заостренности и больше поверив внутренней правде образа, я добивался постепенно большей целостности и четкости актерской работы.

Но, избавляясь от излишеств, от засоряющих вещей, я ни в коем случае не хотел засушить или обеднить образ. Я оставлял все, что способствовало, как мне казалось, его раскрытию. Так, в сцене вранья Хлестаков рассказывает о своем знакомстве с Пушкиным. Отвечая за Пушкина, я шамкаю и показываю старика. Эта находка мне казалась интересной не как самоцель, я хотел показать невежество Хлестакова, не имеющего даже ясного представления о своем великом современнике...

В 1952 году я стал играть Городничего.

Теперь уже, имея за плечами опыт работы над Хлестаковым, я старался избежать тех ошибок, которые были при первой встрече с Гоголем. Но это не значит, что Городничего я сразу сыграл как надо. Я считаю, что только наметил путь работы над образом.

В гоголевском Городничем видится мне «вознесенный на высоты» полицейский. Он вышел из низших чинов жандармского управления — отсюда и его манеры и его служебные «методы». Все это относится к сфере исторической достоверности. Но вот, например, сцена, где Городничий расписывает Хлестакову всю прелесть благоустройства вверенного ему города. Это для меня уже не только история. Я ищу здесь современные, нынешние краски, стремясь изобразить типического очковтирателя наших дней. И если мой Городничий в этом эпизоде интересен зрителю, то, мне кажется, именно потому, что он находит в классической пьесе черты прошлого, еще не до конца, не полностью изжитые сейчас.

...Разговор об образах Гоголя можно вести бесконечно, как и бесконечно работать над ними. Здесь никогда нет потолка. Но участие в пьесах Гоголя — это всегда большая, даже, скажу, лучшая школа и для участника художественной самодеятельности, и для студента театрального института, и для актера с большим стажем.

Имя Гоголя мы видим на афишах чуть ли не каждого советского театра — от академического до районного, передвижного. И со студенческой скамьи Гоголь прочно входит в творческую биографию актера.



Комедия «Ревизор» на сцене Государственного академического Малого театра.
Марья Антоновна — О. Хорькова, Анна Андреевна — В. Н. Пашенная, Хлестаков — И. В. Ильинский.

Фото А. Горнштейна.

В ДОМАХ И НА УЛИЦАХ РИМА



Мемориальная доска на доме, где жил Гоголь.

С. БУРДЯНСКИЙ

Не так давно группа московских литераторов в качестве туристов посетила Италию, побывала в Риме, ознакомилась с его достопримечательностями...

На узкой тихой уличке Via Sistina, неподалеку от площади Испании, под № 126 стоит старый, ничем внешне не примечательный дом, каких еще много сохранилось в Риме. Внизу — небольшой бар. На уровне второго этажа, в простенке между окнами, белеет мрамор мемориальной доски, установленной русской колонией в Риме в 1901 году. Лавровый венок из темной бронзы завершает высеченную на камне надпись с барельефом великого русского писателя.

С 1838 года по 1842 год здесь жил и трудился Николай Васильевич Гоголь.

Новейшие материалы из переписки друзей, воспоминания современников и неизвестные до последнего времени портреты Гоголя воссоздают его внешний облик и дают представление об образе жизни писателя в Риме. Этой теме посвящена недавно изданная в Италии книга Д. Боргезе.

Русская по рождению, итальянка по воспитанию, Дарья Васильевна Олсуфьева-Боргезе написала интересную, с любовью и вкусом оформленную монографию «Гоголь в Риме».

Живя в Риме, Гоголь научился совершенно свободно изъясняться на итальянском языке и однажды даже произнес импровизированную речь, оказавшись в остерии среди итальянских художников. Знание языка давало ему возможность свободно, смешиваясь с толпой, изучать местные обычаи и национальные особенности. И, конечно, самого себя имел он в виду, когда писал в отрывке «Рим»:

«Он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители... следил в остериях, чисто-римских остериях, куда не заходит иностранец... следил его в загородных живописно-невзрачных трантиришках... вмешивался охотно в разговор... Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает наверх все народонаселение...»

В Риме, как и у себя на родине, Гоголь вставал очень рано и тотчас же принимался за работу. Трудолюбив он был необычайно, работал везде и всюду, в любой обстановке.

Писал он обыкновенно стоя: у себя — за специально изготовленным бюро, в пути — где придется. «Гоголь везде, как дома: везде водворяется по-своему и пишет,— сообщает в письме к родным поэт Н. М. Языков,— в Гаштейне сидел он так же, как и в Москве или в Риме: все утро один с пером в руке — и никому и ни на какой стук не отпирая двери!»

В конце июля 1842 года Языков пишет брату: «...Гоголь путешествует omnia sua secum portans (налегке.—С. Б.), ему и горя мало сделать в дилижансе, где он, как дома, лишнюю сотню миль; в Риме же ему вольготнее и привычнее, чем в Москве, где для него слишком шумно и многознакомно. Разумеется, что он знает Рим, как свои пять пальцев, и что с ним ходить по тамошним достопамятностям было бы очень весело...» Гоголь много путешествовал, не уставал восторгаться итальянской природой, но Рим любил какой-то особой любовью.

Целые ночи напролет писатель мог проводить в прогулках по улицам Рима, а в 1839 году, встретившись с В. А. Жуковским и гуляя по городу, стал набрасывать в альбом виды Рима. Итальянцы любят шутя говорить, что из всех видов работы они предпочитают отдых. Гоголю импонировало добродушное веселье и шутки этого талантливого народа; часто можно было встретить его за ужином в скромной траттории или за чашкой дымящегося кофе в маленьком кафе Греко на площади Испании. Память о многих выдающихся событиях и людях хранит это скромное кафе, основанное почти двести лет тому назад греком Николо ди-Маддалена. Здесь часто бывал и Гоголь и Адам Мицкевич, а позднее — Марк Твен, Лист, русский скульптор Антокольский.

И поныне в кафе Греко хранится старинная книга с автографами его знаменитых посетителей. А над одним из столиков — медальон с цветным портретом Н. В. Гоголя.

И всюду: на улицах, в кафе, в дворцах и картинных галереях, в музеях и на народных празднествах — писатель напряженно обдумывает свои произведения. «Я продолжаю работать,— сообщает он в своем письме Жуковскому,— то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ»... Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа».

Когда в Рим приехал для лечения его друг Н. М. Языков, Гоголь устроил его в том же доме на Виа Систина. «Гоголь нашел мне квартиру в том доме, где сам... пребывает... Две комнаты, хорошо убранные и солнечные, в одной — камин; надо мною, в третьем этаже, сидит Гоголь — тоже в двух комнатах; в одной из них — биллиард».

Комната, в которой жил писатель, была светла и просторна. Рядом с книжным шкафом — узкий соломенный диван, у двери — кровать. Посреди комнаты стоял круглый стол. У противоположной стены находилось письменное бюро, за которым работал Гоголь. У кровати и письменного стола — небольшие коврики. Несколько стульев с книгами и платьем дополняли эту более чем скромную меблировку. В дневные часы, когда становилось жарко от палящих лучей солнца, закрывались внутренние решетчатые ставни, и работа продолжалась.

...Есть в вечном городе, воспетом всеми поэтами мира, скромные уголки, не предусмотренные официальными туристскими маршрутами и, тем не менее, дорогие нашему сердцу.

Свет над тайгой

Герман ФЛОРОВ

Пять богатырей

Есть первый Братск
И Братск второй,
Братск-три
И Братск-четыре,
И пятый Братск над Ангарой
Встает в таежной шири.
Как братья, города растут,
Гремят, родясь едва,
И родословную ведут
От Братска номер два.
По ста дорогам, ста путям
Идут машины с грузом,
И любы новым городам
Комбинезоны, блузы,
Спокойный взгляд,
Широкий жест,
Увесистое слово,
И высота обжитых мест,
И красота родных невест,
И праздников обнова.
Могучим братьям все с руки,
И дел у них немало:
Они ведут грузовики,
Они взрывают скалы,
И с каждым годом все смелей
Берут у солнца краски
Пять братьев, пять богатырей
На берегах ангарских!

Ока-сибирячка

Глубоководна и быстра,
Оку встречает Ангара.
Ока пришла издалека
Неторопливо и спокойно —
Она ведь тоже не мелка! —
И в Ангару влилась достойно.
Но вскоре, уходя в тайгу,
Откуда кедры смотрят нежно,
Как две подружки на кругу,
Они расходятся поспешно.
И в общем русле две реки
Идут меж берегов просторных:
Здесь — волны теплые Оки,
Там — Ангары крутые волны.
То разведет их островок,
То катер в стороны раскинет.
Но зол порог, и путь далек,
И Ангара, темнея, стынет.
И, с ней сливаясь на века,
Согреть спешит ее Ока.

ПЕВЕЦ РОДНОГО КРАЯ

В Вологде, в картинной галерее, открыта персональная выставка картин местного живописца Владимира Корбакова. На ней экспонировано более 200 произведений. Это творческий отчет художника за 12 лет.

Еще будучи юношей, он увлекался живописью. А когда стал штурвальным на пароходе, перед его жадными молодыми глазами открылись картины родного края: вологодские деревни, леса, речушки. Кто знает, может быть, эта вспыхнувшая любовь к природе и родила в нем художника.

Но война, тяжелое ранение, затем служба на кораблях Северного флота надолго оторвали В. Корбакова от кисти и холста. После войны он окончил художественное училище, а затем и институт имени В. И. Сурикова.

Москвичи помнят его произведения на нескольких выставках молодых художников столицы.

После окончания института В. Корбаков, способный ученик известного живописца В. Цыплакова, вернулся в родную Вологду зрелым художником. В этом убеждаешься, рассматривая картины на персональной выставке.

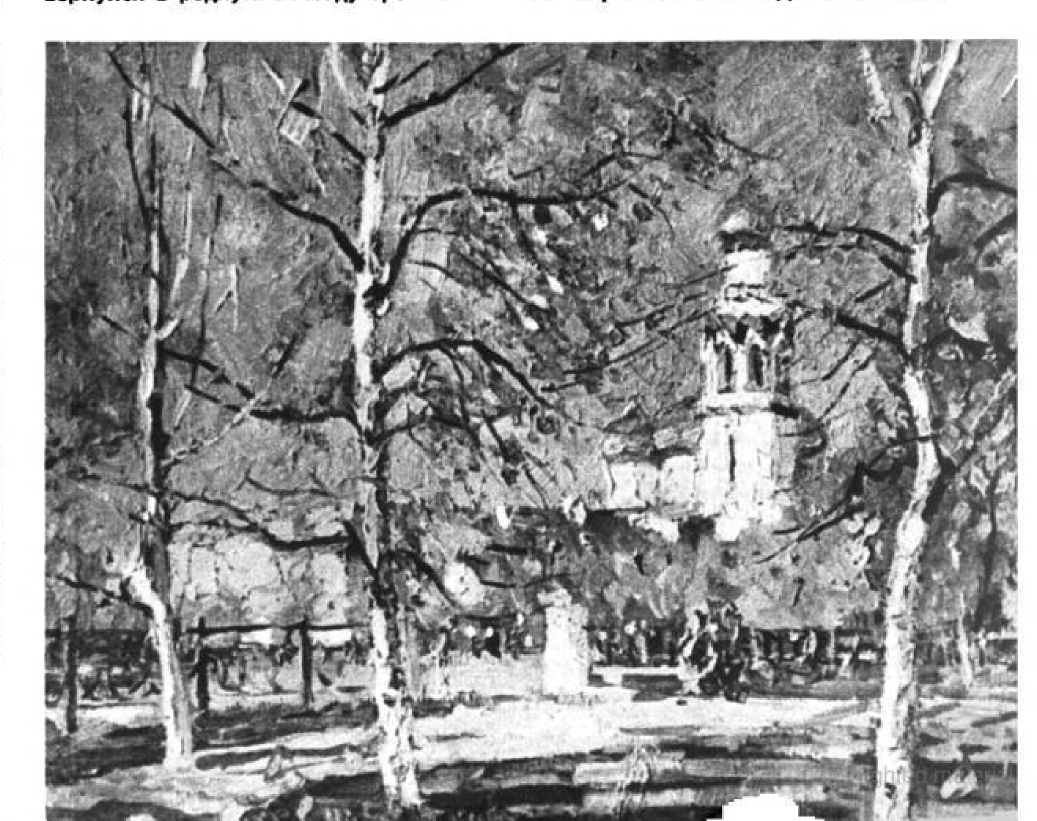
Любовь к природе, к своему краю, к своим землякам нашла живое воплощение в его произведениях. Сложилась ли уже у художника собственная манера письма, пока трудно сказать, но в его картинах чувствуется хорошая школа, а в работах последних лет — и смелая, уверенная рука.

Сильное впечатление оставляют волжские пейзажи художника, картины родного города: «Вологодский Кремль зимой», «Вологда осенняя» и другие работы.

Сейчас художник увлечен индустриальной темой. На выставке есть цикл этюдов, написанных на Череповецком металлургическом заводе. Кажется, что и в этой теме художник сумеет найти свое отношение к окружающей действительности.

М. МЕРЖАНОВ

В. Корбаков. ВОЛОГДА ОСЕННЯЯ.





В краю перепуганных

Василий ТИТОВ

Фото Б. КУЗЬМИНА.

Специальные корреспонденты «Огонька»

Живу в краю, где зимуют птицы.

На дворе январь, месяц холодный, зимний, а тут и намека никакого на холод нет: скворцы распелись, как у себя дома, в Подмосковье, и зяблик хоть и лениво, а пробует коленца из своей северной весенней песенки. Прозвенит чуть, цвиринкнет и замолкнет, будто размышляет: «Ладно уж, хватит, по-настоящему скоро дома споем».

А кругом благодать и раздолье какое! Недалеко Ленкорань-городок стоит, за ним округлые, без льдов и снега горы к небу прижались, у самых гор внизу почти зеленое побережье бежит, море плескучее слушает, и есть тут место, где в большой морской залив многоверстным, широким языком выдался с суши полуостров. Полуостров этот — Сара̀, залив — имени Кирова, и на этом полуострове я и живу. Здесь, на воде залива и на полуострове, на многие километры раскинулся знаменитый Кзыл-агачский заповедник, а точнее — зимнее становище наших северных птиц. И чего-чего здесь только не зимует, из каких мест нашего необъятного птичьего севера здесь гостей не найдешь!

Вот выйдешь так хоть в полутра, хоть в полдень с Кулагинского поста в полуостровную эту саринскую степь по высокой колючей траве — станицы стрепетов всполошишь, подшумишь невзначай журавлей на болотце или чутких дроф на крыло поднимешь. Стрепет и дрофа — птицы родственные, степные, на зимовку прилетают сюда из далеких степей Казахстана. Меткое название стрепету дали! Дрофы, эти наши степные страусы, если их на крыло поднимешь, сразу от тебя подальше уйдут, сядут далеко на сухом бугрище и долго будут смотреть, вытянув на длинных шеях свои маленькие головки, в меру ли от опасности ушли. А стрепеты, хоть и прямая родня дрофе, все же не таковы. Полубелой от подкрылий сотенной стаей поднимутся они на воздух и всей стаей долго-долго, как бы на месте, трепещут в воздухе, а потом поблизости и опустятся. Метко, очень метко названа птица: трепещет на лету.

Никуда не полетят, с места не тронутся только наши журавли. Важно, степенно поглядят в ту сторону, откуда опасно, насторожатся малость и все останутся на месте, словно рассудят: «Чего же тут удирать,— свой человек идет».

Дальше, дальше в степь. Вот видишь, как степенно, несторожко у редких камышин,— должно быть, там сырое место — разгуливают и парами и группками аисты — те самые птицы, что под Киевом и Черниговом приносят маленьким детям младших братишек да сестренок и зовутся там черногузами. Поодаль от них, прячась за камышины, белые цапли, дремля на одной ноге, стоят и, вероятно, думают сейчас: «Удирать или не удирать?»

А вот пресная лужица в стороне. Там такое широкое гулянье у куликов, что кажется — свадьба идет. Вижу и кулика-сороку, и зуйков-перевозчиков, и поручейников, и травников, что ходят, посвистывают, покачиваются на тонких ножках, копошатся в теплом иле своими носами и славно пируют на этом даровом теплом столе.

Ну, а это кто же так быстро шмыгнул из-под самых ног и, словно узкая длинная бутылочка, помчался прочь между кочек, не задевая ни одной травинки? Ба, да это же наш дергач, тот самый коростель, что на летовье отсюда пешком до самого Архангельска доходит, что летом в подмосковных сырых лугах от зари до зари «бабьи холсты на посмешку дерет»! Летом его из травы и с собакой не скоро выгонишь, а тут, ишь, как свободно разгуливает между травянистых кочек! Что же, беги, беги, дергач торопливый, рад мимолетной встрече с тобой! Скоро ждем тебя вновь на родину, в росные травы, петь свою скрипучую песенку от зари до зари!

Но то все в степи. Степь саринская длинным языком делит залив имени Кирова на две части — на Большой и Малый. Большой залив к Куринской косе прижался, а Малый — к суше, где вливается мелководная Акуша. Там и лежат акушинские разливы, поросшие камышом. Так вот, главная-то красота заповедника на заливах, и особенно на Большом. Они поистине криница племенного стада нашей промысловой птицы, что собирается сюда со всех концов необъятной Сибири, Казахстана и старого русского Севера.

Выйди утром на Большой залив, погляди, послушай, что делается! Весь берег испещрен следами птиц. Тут и гусиная лапка на грязи видна, тут и фламинго шагал, тут и крестики, и елочки, и цепочки лысух, больших куликов, и разной другой птицы. Встанешь на берегу и, если чуток ухом, сразу услышишь такое звонкое, призывное «клепанг-клепанг!». То на далеких приглубых местах, до которых и глаз без бинокля неймет, держится горделивый лебедь-кликун, птица сторожкая и обособленная. Не мешается она ни с гусем, ни с лысухой, ни с пеликаном, бытует малыми стаями, даже с собратом своим, лебедем-шипуном, вместе не живет.

Ближе к берегу всякая утка жирует: и чернеть, и свиязь, и шилохвость, и нырков встретишь, и гоголя-рыбника — от утки тут черным-черно. Иди так берегом близко от воды на северо-запад за Кулагинский пост, и слушай, и гляди на всю эту уть издали,— все мелководье вдоль берега будет под уткой. И как он радостен, как он волнующ, вдруг станет для тебя — крик с воды, когда какая-нибудь серая крякуша, словно узнав в тебе знакомого человека, вдруг хватит оттуда свое раскатистое и задорное: «Эй, сват, сват, сват, сват, сват!» Почувствуешь себя сразу как будто и не на этом дальнем конце нашей земли, а где-нибудь в родном Подмосковье, и даже шапку сдернешь с головы, и помахаешь приветливо в ту сторону, где жирует на воде эта свойская птица.

Только вот гуся в этот час в заливе нет, нет и казарки. Рано, до светлого утра еще, на темнозорьке снимаются гуси и казарки с воды и уходят далеко к предгорьям в Сальянские да Муганские степи брать осыпающиеся семена рогоза. На залив гусь и казарка возвращаются уже тогда, когда вторая темнозорька зайдет за край неба. Тогда-то и гляди и слушай. Небо быстро темнеет, и так же быстро, как темнеет небо, волна за волною возвращается эта птица от гор и со степей. Никогда наш северный серый гусь нигде не меняет своего голоса. Как и дома, он и на зимовье кричит в сутемени неба обычно: чисто, ясно, звонко и спокойно, будто всю стаю ладит: «Правь за мной!» Вот по этому-то крику и узнаешь в темном небе первую гусиную клинопись. А за ней уже эшелонами в десятки сотен голов идет весь гусь на воду, а в разрывах между ними валит, тихо перекликаясь, казарка. Идет она на воду не как гусь — клинописью, а черными извивающимися лентами, и тогда кажется, что кто-то очень большой бросает из темной небесной высоты длинные извивающиеся на лету гирлянды из черного шелка, и они плывут, несутся по ветру и падают на черную воду. Всегда хочется в это время сидеть на берегу и слушать музыку птичьего перелета, а потом, набрав сухого рогоза, расстелить его где-нибудь у куста тамариска да



и завалиться на бок до утра спать здоровым сном, чтобы утром встать по холодку и послушать вновь, как птица будет вставать на крыло и пойдет, перекликаясь, кормиться в степи и предгорья.

Таков Кзыл-агачский заповедник. Тем и дорог он, что здесь единственное место в нашей стране, где птица перезимовать может, откуда возвращается она на места гнездовий, чтобы выводить детей.

...У нас с Гамидом Алиевым на душе неладно. Отчего? Да оттого, что вокруг всех этих заповедных мест неотступно, неотвязно бродит человек с охотничьим ружьем.

Вот я сижу сейчас с Алиевым, крепким, здоровым, пожилым, с виду спокойным человеком, инструктором-наблюдателем заповедника, что уже второй десяток лет «разменял» на службе «при птице», сижу на берегу залива, гляжу то на темное небо, по которому в полумраке волна за волной проносятся гусиные стаи, то на него — он чистит свою берданку сухой долгой тростинкой — и понимаю, что не так уж спокоен Гамид. Дело в том, что Гамид готовится к... обороне. Сейчас в ночь нам нужно идти верст за десять отсюда, туда, на акушинские разливы, где кормится главным образом серая утка, чтобы к свету попасть в камыши и не дать там разгуляться на воле среди кормящихся стай наглым до предела браконьерам.

И, кажется, свято должно быть заповедное это место на нашей земле для каждого человека, никто посягнуть на него не смеет и не может, а получается на деле не совсем так. Каждый день, а особенно под праздники, с Малого залива, пихаясь шестами в дно, проталкиваются с ночи через камыши на дощаниках-кулазах в акушинские разливы люди с охотничьими ружьями, и с утра там начинают греметь выстрелы. «Стучат»,— говорят тогда наблюдатели на Акушинском посту и начинают надевать резиновые сапоги. И уже немало рассказывал мне Гамид разных историй о стычках с браконьерами в акушинских камышах, но почти все они кончались тем, что браконьер уходил, а когда ему предлагали сложить оружие, отвечал: «Не подходи, стрелять буду!»

— И были случаи, когда по охране стреляли,— рассказывал Гамид,— да и теперь еще стреляют.

Не раз уже я намеревался в болотных сапогах проникнуть в разливы, чтобы посидеть ночь среди кормящихся птиц, подслушать их жизнь и говор, да где уж! С утра там начиналась пальба. За три дня, что прожил в сторожке, насчитал я более двух тысяч выстрелов. Значит, был выпущен за эти три дня в камышах не один пуд дроби. Сколько же птицы побито?!

«Кто же он, этот пресловутый здешний браконьер, что лезет очертя голову в камыши, бьет птицу и охрана с ним справиться не умеет? — думал я, считая разбойные выстрелы.— Может быть, какие-нибудь «отпетые», для которых все трын-трава? Повидать бы хоть одного такого, в личность вглядеться, разгадать!»

— Еще увидишь и отвернешься,— отвечал мне на это Гамид.— Вот будем делать большую облаву, налюбуешься.

Но первого такого «стукача» увидел я раньше, до большой облавы, когда ходил в Большой залив к Куринской косе смотреть стадо розовых фламинго, которых всего с тысячу голов зимует здесь на мелководье. На быстроходной дюралевой и очень устойчивой мотолодке старшина сторожевого катера заповедника Сергей Матвеевич Ватолин мчал меня к Куринской косе, и я много услышал и узнал от него о недавних минувших делах, что творились в этом заповедном месте.

Рассказал Ватолин мне, как с самой войны лет пятнадцать кряду свирепствовал здесь вовсю в заливе рыбник, а браконьер, человек с охотничьим ружьем, не отставал от него.

— Есть тут на берегу,— говорил Ватолин,— один колхоз, где председателем и по сей день товарищ Садыхов. В море этот колхоз не ходит, рыбы там не берет и, видно, брать не собирается. Кто ему давал разрешение ловить рыбу в заливе, я не знаю, знаю только то, что за два весенних месяца, когда из Каспия рыба через залив по привычке идет на нерест к акушинской протоке, что соединяет с заливом мелководные акушинские разливы, он столько вычерпывал кутума, сазана и осетра, столько солил икры, что «перевыполнял» свой годовой план за одну весну, и десять месяцев подряд весь его поселок, почти ничего не делая, только погуливал. А черпал он рыбу старыми волокушами, распугивая птицу так, что она в Иран и Ирак проходом уходила на убой. После же волокуш кормиться, особенно утке, здесь нечем было: снасть эта очищала дно от травы и от живности. Странное явление, но только год назад у нас в Азербайджане вспомнили, что существует Кзыл-агач, заповедник, и положили конец хозяйничанью рыбников в заливе. Птица теперь вновь зимует у нас, но браконьер с ружьем остался.

Залив, по которому мы неслись, был так спокоен, и легкая, в вершок высотою, цвета дымчатого хрусталя волна была так прозрачна, что через нее виднелась и другая, и третья, и четвертая волна-зыбинка, и так великолепно было розовое облако птиц, стоящих далеко от нас над водою на своих длинных ногах, что совсем не хотелось слушать печальную повесть, которую рассказывал мне Ватолин.

И вдруг на мелкой воде у косы розовую, похожую на взбитую пену стаю птиц будто кто-то сразу снизу встряхнул. Подпрыгнув на одном месте несколько раз, встал на крыло первый десяток птиц, вслед за ним еще и еще пошли на крыло, и скоро вся стая, всполошившись, беспорядочно поднялась в воздух. Ватолин от неожиданности даже руль на «пьяна» положил, и наша «дюралька» бешено описала почти полный круг на воде. Ведь вот же, как он лезет на рожон, браконьер! В тот момент, когда вся станица фламинго поднялась на воздух и стала в сторону уходить, открылась нам на воде лодка-кулаз «в два седока». Должно быть, они нас еще раньше заметили, потому что в лодке пошла возня, а скоро и мотор на ней зачихал, и лодка пошла быстрым ходом в сторону взморья.

Обогнули косу, догнали. Рослый дядя с ружьем в руке на носу, парень доброго склада за рулем.

— Стой!

— Чего стоять-то? Аварию терпим. Кардан поломался. Покуда чинили, течением к вам в залив занесло.

У Ватолина и ружье хорошее в руке, и лодка куда угонистее, чем у этого дяди, и помощь выстрелами вызвать с катера может. Ан вот не робеет тот человек, ружьецом играет, другое ружье у ног парня лежит, и оба наглы до невозможности.

— Ну, не держи, не держи, чего уцепился за кулаз! Какой подозрительный! Не собирался я твоего птицу-фоломина бить. Видишь, и кулаз пуст, доказательства у тебя никаких нету.

Отпустил Ватолин: кто его знает, может, и правду говорит, хоть физиономия будто и «брешет». А выдал же все-таки себя, негодная душа! Едва только кулаз тронулся, а я навел на них свой безобидный фотоаппарат и собрался было уже «щелкнуть» эту встречу себе на память, как дядя вдруг ружье бросил в кулаз, парень руль отпустил, и оба закрыли свои физиономии ладонями. Тогда Ватолин сообразил и повернул к тому месту, где раньше сидели фламинго,— искать, куда браконьеры выбросили птицу.

Нашли. На воде плавало с десяток лысух с отвернутыми начисто, по местному обычаю, головами, тушки других уже утонули и чернели на дне под неглубоким прозрачным слоем воды. Каковы мастера!

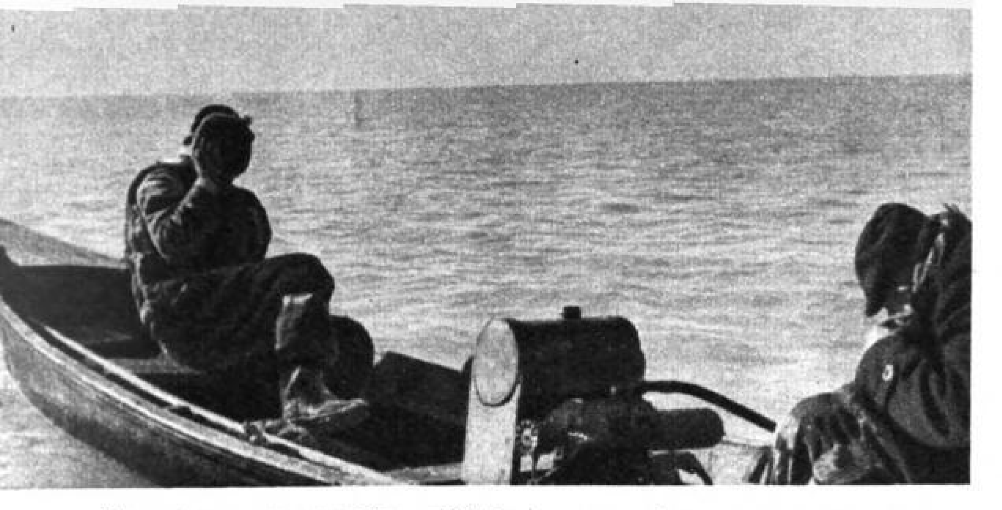
— Эх, промах я дал,— говорил Ватолин.— Ну глуп, ну глуп! Старого воробья на мякине провели. Надо бы не верить, а сразу, сразу брать! Ну, не уйдут в другой раз, попадутся.

— Кто же они,— спросил я старшину,— откуда?

птиц

Старший инструктор-наблюдатель заповедника Гамид Алиев.





Браконьеры не желают «позировать».

Фото автора.

— Да почем знать,— отвечал Ватолин.— Ни физия, ни лодка не мечены. А только знаю, что они здешние и спекули. На базар работают, пух, перо, мясо там сбывают. Не они одни тут такие...

«Жаль, жаль, ушли молодцы,— подумал тогда я.— Но сегодня облава большая. Хоть одного, да «застукаем».

...Но вот Гамид уж почистил берданку, и мы идем с ним через ночь по тропе к Акушам, а ночь джунглями дышит. Вот где-то там, где должны быть заросли тамариска, вдруг раздался истошный крик.

— Что это, Гамид, кто кричит?

— Кабаны шакала полоснули, на тропе попался.

— А откуда это так дышит теплом и птичьим пером?

— Казарки на ночлег на суху присели, у них, у казарок, так бывает.

Ночь... Ночь торжественная, полная жизни, свежести и шорохов таинственная ночь!

...Пришли на пост, когда еще не светало, разбились на пары, полезли в камыши. Все наблюдатели — к спрятанным там кулазам, а мы с Гамидом идем по сушинкам среди камышей. А камыши стоят, не шелохнутся, тихие, еще дремные, и не качают отсыревшими за ночь своими махалками.

Ночь не прошла еще совсем, а где-то близко в камышах из двух ружей и двух стволов разом: бах, бах, бах, бах! И тут же в ответ и так же разом уже не радостное утиное «эй, сват», а испуганно: «Свят, свят, свят, свят!» Утки стаями заметались над камышами.

— Пошло битье! Слышишь, друг? Да там десятка два «стукачей» работает.

И Гамид лезет в камыши дальше уже напролом, проваливаясь по пояс в воду. Спешу следом за ним. Десять, пятнадцать минут, полчаса такой «работы». Сердце словно выпрыгнуть хочет. Раза два уже в этом беге оступались и окунались по пояс в воду. И вот сквозь камышины на чистом разводьице виден кулаз. В нем, притихнув, два молодца со вскинутыми кверху стволами ожидают налетной стаи. В кулазе уже серо от битой птицы, а рожи стрелков так просты и поэтически-вдохновенны, что видишь: совсем не чувствуют себя в «черном деле». А Гамид гремит уже через камышины:

— Стой, что делаешь, опусти и разряди ружья!

Эффект? Никакого! Потные, упоенные счастьем лица вдруг искажаются жесткой злобой, узкие, сощуренные глаза ищут Гамида по голосу. Переломили двустволки, выкинули патроны прямо в воду и быстро заложили по паре новых. Ясно: сменили на картечь. Сунься к ним!

— Опусти ружья, плохо будет!

В ответ:

— Не вылазь на свет, а то получишь!

А глаза все ищут в камышах фигуру Гамида, который провалился по самые подмышки между двумя купаками и похож сейчас на тюленя, выглядывающего из лунки. А тот, что в ответ преспокойно кричит Гамиду: «Не вылазь на свет, а то получишь»,— так же преспокойно кладет ружье в кулаз, берется за шест и начинает пихаться прочь, в самую гущу камышей. Передвигается дальше в камыши и весь тот разбойный фронт, который нам невидим. Выстрелы пачками гремят дальше, и над нашими головами, свистя маховым пером, проносятся перепуганные утки.

Только под вечер возвращаются кулазы охраны. Лица у людей осунулись, одежда мокра, раздражение владеет каждым.

— Ну что, схватили?

— Схватишь тут, — отвечают,— картечь в мягкое место! Отогнали хоть. Они отсиживаются сейчас в камышах, где-нибудь на «сговоре», ночью по-тихому уйдут. Ну что, чай пить будем?

Чай! Только и остается. И все мы, кто управился со своей мокрой одеждой, обувью, пропустившей воду и устроенной для сушки возле теплой печки, садимся пить чай. Он сейчас очень кстати, горячий и душистый, греющий и тело и душу. Все мы пьем его полными глотками, обжигая то руки, то нёбо, и я в недоумении от того, что видел, который раз все спрашиваю:

— Да сколько же их у вас, кто они?

А Гамид, все еще зло развешивая мокрую одежду и вытряхивая воду из своих резиновых сапог, так же зло мне отвечает:

— Сколько? Хватает, хватает, говорю. Кто они? Поди узнай. Сегодня одни, завтра другие. Ружье, охотничье ружье у всех есть. Порох, дробь пудами заготовляются. За порохом и дробью далеко ездить не нужно: сколько хочешь бери в охотничьем магазине в Ленкорани. И ружье тоже. Стукнуло тебе восемнадцать лет, иди покупай себе ружье, продается открыто, без охотничьего билета. А мало одного — бери пять, пожалуйста, никто ничего не скажет. В любом селении на пять зарегистрированных в охотничьей организации ружей сто незарегистрированных найдешь. И как только ты купил ружье, ты уже охотник. Тобой никто не интересуется, что ты с ним будешь делать, можно ли тебе доверить ходить с ним, умеешь ли отвечать за свои дела на охоте. И вот рано или поздно такой охотник становится браконьером, потому что ему хочется стрелять, иметь добычу. А дальше уж путь известен.

В сухой одежде Гамид садится на подстилки, по-восточному подбирает под себя ноги. Он берет стакан чаю, ставит локти на колени, но видно, что еще не успокоился: руки у него дрожат.

— Ты думаешь, бьют только здесь, у нас в заповеднике? Птица зимует на взморье, кормится в степях. Ты иди в Сальянские степи — и там бьют птицу. Там гусь кормится. А пуганый гусь куда уходит? Ну вот, это понимать надо. А в горах был? Съезди в горы. И там бьют, хотя уже и бить-то нечего. Горный орел, и тот ушел куда-то, а горного козла теперь не встретишь, хоть месяц броди. Ты слышал о горной куропатке? Может быть, она разве что на Большом Кавказском хребте теперь есть? А наш гирканский фазан, султанская курочка и турач? Все истреблено, все выбито. Я говорю об этом верно, знаю, какие там дела. А название какое дали этим людям: браконьер! Что оно значит, друг, не знаешь? Брак, что ли, в природе эти люди делают? А помоему, это просто разбойник, смешанный с жуликом. Чужой человек, который по нашим законам жить не хочет. А может быть, его еще никогда и никто не воспитывал, потому что против таких людей правильного закона еще нет.

— Какого закона, Гамид?

— А такого. Вот ты думаешь, мы не поймаем кого-нибудь из этих людей? Поймаем. Сегодня их двадцать было, нас десять, ошиблись немножко мы в расчетах. Завтра их будет десять, нас двадцать — поймаем. Но что будет тому, кого мы поймаем? Или до шести месяцев принудительной работы, или штраф две — три сотни рублей. Ну, отберем ружье, кулаз. И все. А что ему стоит заплатить триста рублей, когда он за предыдущую зорю, наверное, взял не одну сотню уток или в будущую зорю с чужого кулаза и из чужого ружья вернет себе все сразу? Значит, это плохой закон.

— Какой же нужен, Гамид?

— А такой, чтобы этот браконьер, грабитель природы, долго помнил его и долго выплачивал за свое преступление. Почему жестоко карают за расхищение государственной, народной собственности? Разве природа не народная собственность? Пора приравнять и природу к народной собственности. Пора наказывать за ее расхищение, как за расхищение народного добра. Вот какой нужен закон! И еще нужен закон о ружье. Оно должно даваться в руки тому, кто злоупотреблять им не будет. Совсем еще недавно оружие в магазинах продавалось только по охотничьему билету. Охотничий билет давали охотничьи общества. Есть много хороших и честных охотников везде. Дурному человеку трудно было получить билет. Значит, был глаз за человеком, которому давали право на ружье. Теперь этого нет, отменено это. Теперь ружье продается любому без контроля, без проверки. Почему так?

Мы ложимся спать. Но никто еще не успокоился, все возбуждены. Я ложусь на полу у низкого окна, слушаю ночь, слушаю разговоры и думаю: да, прав, прав же во всем Гамид! Я много езжу, много видел этого «вольного» люда с бесконтрольным ружьем, часто о нем слышал. Браконьер шалит не только здесь. Вон в Кавказском заповеднике какие-то черные души уложили двух последних старых быков-зубров, и стадо самок осиротело, оставшись с молодыми бычками. Что же было бы, если бы браконьеров поймали? Они отделались бы за уничтожение редчайших животных только штрафом. Правда, по закону администрация заповедника могла бы предъявить браконьеру денежный иск в возмещение убытка. Но разве можно восполнить рублем потерю реликтовых животных, которых в природе осталось считанные десятки?

А подмосковные лоси, а ловленый и битый баргузинский да енисейский соболь и астраханская выдра?

Мне вспоминается одна цифра, которую я узнал в Главном управлении охотничьим хозяйством и заповедниками Российской Федерации, где разговорился с Еленой Ивановной Ребровой, женщиной душевной и ведающей как раз борьбой с браконьерством.

— Вы знаете, сколько у нас за минувший год было выявленных случаев разбоя в природе? Ни много, ни мало, как двадцать тысяч только по одной Российской Федерации. А сколько невыявленных, скрытых случаев было, того мы не знаем. Прибавьте сюда злодеяния браконьеров, совершенные в союзных республиках. Цифра получится умопомрачительная.

— Что же надо делать?

— Нельзя оберегать природу только рублем,— отвечала она.— Нужен общий неумолимый закон об охране природы. Нужен такой закон, чтобы сам народ знал, где, что, как и от кого оберегать. Нужно не слабенько, рублем, наказывать за истребление птицы и зверя «в неуказанное время» и «в неуказанном месте», нужно жестоко наказывать виновных и за загрязнение рек, и за рубку реликтовых лесов, и даже за порчу пейзажа. Вот скажите: почему у нас недра взяты под такую охрану, что почти никому в голову не приходит браконьерски искать где-нибудь «золотишко» и копать драгоценные каменья? Почему же у нас природа не взята под такую охрану и браконьер, как тень далекого «промышленнического» прошлого, когда хищнически валили леса, выбивали зверя, облавливали рыбу, тащится за нами с ружьем в близкое светлое будущее, как какой-то «пережиток», который все еще терпят? А ведь в природе все быстро меняется, и утраченное в ней почти не возвращается.

Разговор этот запомнился. И вот сейчас он мне бередит душу. Да ведь это же самое, если разобраться, говорит и Гамид, человек простой, которому поручено охранять заповедное место, где берегутся племя́, остатки того, что за год было бито и бито и на перелетах, и на кормищах, и в укроминных разных местах, и на всяких зорях еще на севере, и которому завтра вставать чем свет, лезть в камыши, чтобы «пугать» там браконьера. А завтра он, браконьер, опять придет в камыши, опять «застучит» там.

Вот ехал я в тихий край зимующей птицы, а попал в край перепуганной. Не пора ли кончать сурово, как следует с этим на нашей земле?

Ленкорань.



Ю. Н. Тулин (СССР). ЛЕНА. 1912 ГОД. 1957 год

Выставка произведений изобразительного искусства социалистических стран.



П. Д. Корин (СССР). ПОРТРЕТ НАРОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ СССР М. В. КУПРИЯНОВА, П. Н. КРЫЛОВА и Н. А. СОКОЛОВА (КУКРЫНИКСЫ). 1958 год.

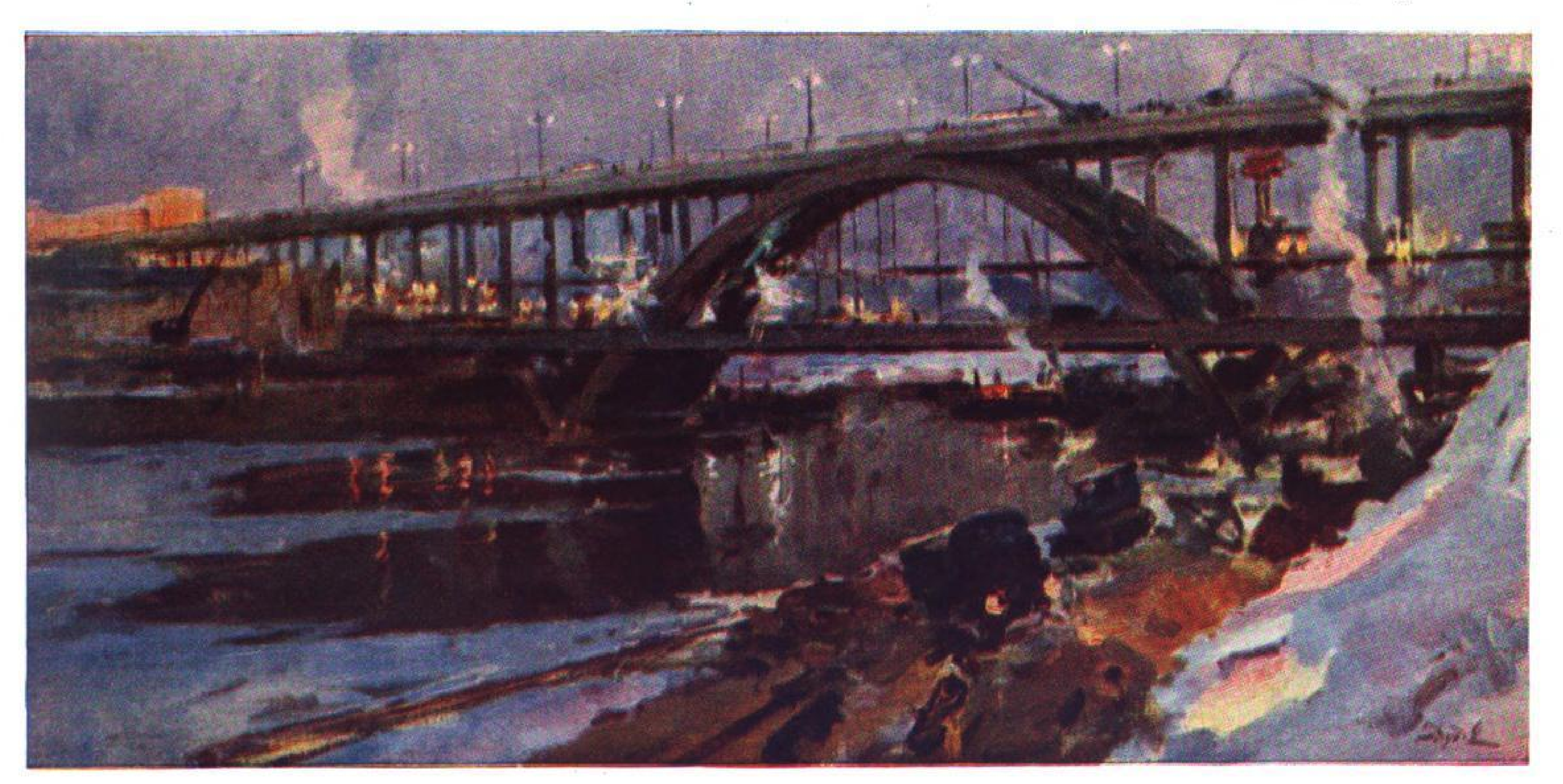


М. Г. Дерегус (СССР). МОЛОДИЦА. 1956 год.

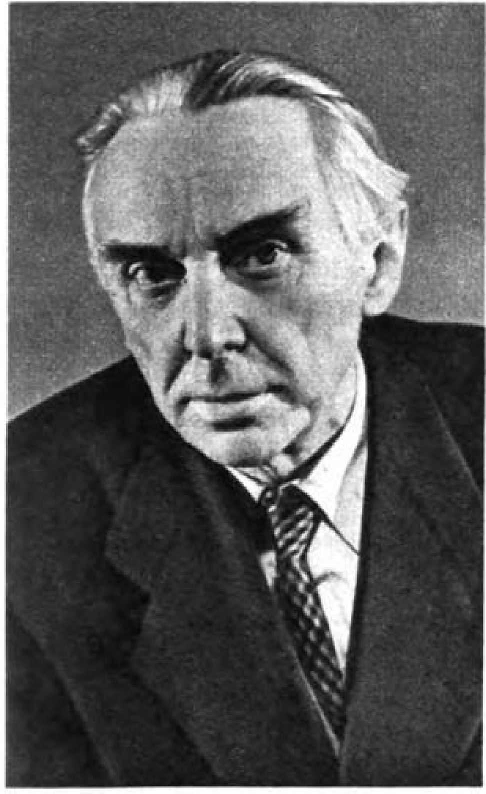
Л. Я. Дербенева. ЮНЫЙ ХУДОЖНИК.
1958 год.

Выставка живописи и скульптуры Москва.

Ю. Н. Дудов. СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА МЕТРО. 1958 год.



Кирилл Извеков в 1921 году



Конст. ФЕДИН

Рисунки А. КОКОРИНА.

Публикуемый эпизод из нового романа Конст. Федина «Костер» по времени действия относится к молодым годам героя. Это воспоминания Извекова об его участии в гражданской войне, о первой встрече с Новожиловым, которому в романе, посвященном Великой Отечественной войне, отведено значительное место. «Костер» является последней книгой трилогии, включающей известные читателю романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

...Белые армии были разбиты. По укромным углам русской равнины держались одни шайки бандитов. На подавление бандитов Извеков был послан в лесную Тамбовщину с отдельным отрядом Красной Армии. Но неожиданно его откомандировали из армии и назначили начальником милиции. Тут встретился он с Новожиловым.

Новожилов стоял во главе местной чрезвычайной комиссии. В первом разговоре с глазу на глаз он сказал, что, мол, вот Извеков два года был комиссаром на фронте и служба в милиции чудится ему, наверно, мелкой. Но милиция — дело особенное. Она близка к населению, много знает, должна больше кого другого отвечать. Слыхал ли Извеков, спросил он, за что посадили прежнего начальника? Нет?

— Это относится к теперешней твоей задаче, — сказал Новожилов. — В уезде гуляет Иван Шостак. Он из здешних. Был раньше у белых, дезертировал. Сразу, как возвратился домой, начал подбивать по деревням людей: «Айда, ребята, за мной — искать в зеленом лесу правду». Научился у своих атаманов на юге. Мы все время на его следу, но банда уходит из-под рук. У Шостака что ни деревня — свои покровители. Он прошлый год ловко купил кулаков: отбил у советского продотряда обоз с хлебом и весь вернул кулакам. Они в благодарность всю шайку от себя на паек поставили. Мы арестовали человек сорок, о которых знаем, что они с бандитами связаны. Начальнику милиции приглянулась одна молодуха из арестованных. Он потом сам показал, что красавица стояла у него перед глазами во сне и наяву. Выведут арестованных на прогулку — он за ней в щелку смотрит, оторваться не может, — пава! Про себя он решил: попроси она, чтоб он помог ей убежать, он поможет. Она возьми, да и заговори с ним. Почуяла, видно, его вздохи. Этот народ опытный. Я с ней беседовал. Действительно, хороша собой, ведьма. Дальше — больше, начальник стал давать ей разные поблажки. А уж тут — что ему оставалось? Они положили бежать вместе. Но сорвалось: мы перехватили их по дороге... На следствии пава эта смеется мне в лицо: потеряли вы, говорит, начальника, он теперь ко мне прикован. А про свои делишки с бандой — ни слова. Но мы установили, что она вела дружбу с Шостаком еще прежде, чем ему уйти с белыми. Начальник милиции клянется, будто об этом не знал. Да все равно. Знал, не знал — чести не прибавит. Первый долг милиции — честность. Если без утайки, то у нас в этом пункте имеются нарушения, — закончил Новожилов.

Извекову поручили ликвидировать банду. Это была его единственная операция на службе в милиции: его вскоре отозвали, он опять вернулся в армию.

Задача была военной, но войну в деревнях вели хитрее, чем на фронте: не вдруг углядишь, кто на чьей стороне, все будто мирно, гладко. Идешь по земле, как по травке. А под травкой — огонь. Где он вырвется, не угадаешь.

Как только Шостаку стало известно, что прислан красноармейский отряд, он начал бешено маневрировать, запутывая следы банды, распространяя по деревням вздор о ее движении. Извеков поддерживал с красноармейским отрядом связь: Шостак все внимание сосредоточил на военном отряде и, отходя от него, сближался с милицейской группой. Разведка наконец донесла Извекову, близ какой деревни банда остановилась на дневку. Шостак перед тем ночевал в этой деревне у завзятого кулака Воронкина. Не исключалось, заночует и еще раз. Извеков решился действовать немедленно. Людей у него было немного, и только он один и его помощник на конях, остальные пешие. Но он успел до вечера обложить деревню двумя линиями милиции с лесных сторон. Проезжую дорогу, которая шла по деревне из конца в конец улицей, Извеков приказал держать открытой, поставив секреты.

Один милиционер, родом из этой деревни, в сумерки заметил на дороге крестьянку, узнал ее, вышел из укрытия, поговорил с ней. Она направлялась ночевать в соседнее село, чтобы с утречка занять очередь в фельдшерском пункте: она мучилась зубами. Милиционер не удержался спросить про Воронкина. Она ответила: ничего, мол, черту лысому не делается, живет-пирует.

— И сейчас пирует? — спросил милиционер.

— А кто его знает!

К полночи лазутчик доставил Извекову сведения, каков был результат разговора на дороге. У Воронкина за полдень были будто бы неизвестные люди, пили самогон, но, как присумерничало, вдруг схватились с места и все до одного исчезли. Операция была выдана. Извеков арестовал милиционера, сказав, что женка своими больными зубами заговорила дураку его здоровье.

Надо было поправлять прореху. Извеков подтянул обе линии милиции к деревне и в полночь приказал проводить себя в избу Воронкина.

Ему открыл сам хозяин. Кирилл велел засветить огонь, вошел в горницы в сопровождении двух милиционеров, другие оцепили двор. Вся семья поднялась со сна, чужих никого не оказалось. Воронкин был человеком умным. Он признал, что днем к нему явились люди, погрозили («вот как вы теперича, товарищи») оружием, потребовали достать вина, выставить сала, выпили, наелись, наказали проглотить язык («не то быть от двора моего с избой останутся одни головешки») и ушли, как пришли. Никого из них Воронкин, по словам его, никогда не знал, а исполнял, что они требовали, под страхом. О Шостаке заявил, что о таком слышал, но видеть не видал («бог миловал!»), и в подтверждение перекрестился на божницу.

— Ну, Воронкин, довольно вранья, хоть врешь ты складно, — сказал Кирилл. — Нам все известно. Правды от тебя добьется суд. А теперь выбирай: либо ты сейчас идешь в тюрьму, либо выполняешь задание, которое исполнить я тебе прикажу. Банда Шостака свое отгуляла: она в кольце. Мы действуем с Красной Армией. У Шостака один выход — сдаваться. Понятно?

Воронкин ответил с раздумьем:

— Понятно. Давай вам бог, ежели оно так, как изволите сказывать... А какой же мне будет от вас приказ?

— Ты сейчас отправишься к Шостаку и скажешь, чтобы он вышел со мной на переговоры. Передашь ему от моего имени, что Красная Армия вести переговоры не будет, у нее приказ: разгромить шайку наголову. Бандитам выгоднее иметь дело с гражданской властью, с милицией. И это тоже передашь Шостаку. Запомнил?

— Как не запомнить! Куда только, товарищ начальник, мне теперь идти? Вы укажете? Лес велик, а ночью того больше. Каким таким людям ваше слово передать, которых я ведать не ведаю?

— Тогда вели хозяйке дать тебе смену белья да два каравая хлеба на твоих конвоиров. Пойдешь в город, в чека.

Женщины по горницам, за ними детишки принялись голосить, плакать. Воронкин цыкнул на домочадцев, чтоб замолкли, стал к иконам, помолился. Оборачиваясь к Извекову, развел руками:

— Тут тюрьма, там смерть — выбирай, чего хочешь. Сколько живу — ни разу не ходил по грибы в ночное. Слушаюсь, товарищ начальник, ваша воля.

— Не вздумай остаться с бандой! Я буду ждать тебя в избе. Никто из твоих отсюда не выйдет, пока не вернешься. Не забывай про семью.

— Об ей как забыть! — сказал Воронкин и с этими словами взял с лавки армяк, накинул на плечи и, поклонившись Извекову, пошел к дверям.



Много передумал Кирилл, дожидаясь Воронкина, поворачивая в уме его последние слова, которые могли означать что угодно. Так ли, этак ли поступит Воронкин, но с появлением его у бандитов Шостак получал достоверные сведения о местонахождении милиции. Стало быть, надо было ждать удара с любой стороны.

Однако на рассвете Воронкин возвратился и принес ответ Шостака. Главарь шайки соглашался встретиться при условии, что встреча произойдет без оружия.

— Значит, бандиты будут меня держать на мушке, а я перед ними, как новорожденный, — сказал Извеков.

Воронкин пожал плечами.

— Я ихним желаниям не волен.

— Ты ничему не волен, а, небось, сыскал в лесу своих дружков без промаха!

— Не я их искал, товарищ начальник, они сами меня пымали.

Кирилл засмеялся. Подумав немного, он расстегнул пояс, скинул с плеча портупею и отдал свой маузер милиционеру.

— Показывай дорогу, — приказал он Воронкину.

Они вышли за околицу деревни вчетвером: двое милиционеров при винтовках конвоировали Воронкина, Извеков ехал верхом. В лесу висел туман и было сонно-тихо. Они прошли с полчаса, когда Воронкин объявил, что с этого места Извекову надо ехать по просеке, на которой его встретят и проводят куда следует.

— Когда встретят?

— Они скажут. Услышите.

— Ты знаешь, Воронкин, чем я рискую, — предупредил Извеков. — Но мои ребята (он показал на конвой) тоже знают, что им с тобой делать по первому выстрелу.

— Кто же станет стрелять, товарищ начальник, когда вас ихний голова дожидает? Извольте навязать на рукав белый платочек да езжайте себе шагом.

Так Извеков и сделал.

На узкой, заросшей просеке туман был гуще. Сентябрьский холодок нетронуто держался в лесной тени. Но Кириллу было жарко. Он расстегнул шинель и френч. Сделать это было надо и потому, что френчем к самому сердцу прижат был наган. С каждым шагом назойливее мучило его желание повернуться вспять. Ему казалось, он обманут. Весь его план представился ему детски-глупым. Но он видел, что перестраивать замысел поздно. Время потеряно. Он отпустил поводья. Конь обходил выступавшие из тумана деревца молодого подлеска. У Кирилла было ощущение, что просеку заглатывает вода и сам он медленно идет ко дну. Он глядел на часы, Стрелка двигалась лениво, как никогда.

Раздался свист. Конь рванул вбок. Кирилл остановил его. Было тихо. Он тронул вперед. Засвистели еще раз. Он вновь остановился. Что означали слова Воронкина «они скажут»? Он подумал: разбойники говорят свистом. Он не двигался. Он думал: как быть, если его подкарауливают справа и не видят платка на его левом рукаве? Он ничего не слышал. Он следил за ушами коня. Конь поводил ими в обе стороны. Вдруг он потянул мордой влево, поднял ее, дважды кратко и тихо проржал. «На лошадь», — подумал Кирилл и крикнул с нетерпением:

— Выходи! Я безоружный!

Почти сразу он услышал шелест раздвигаемой листвы. На просеку вышли двое. Один держал винтовку наперевес, другой — браунинг. С противоположной стороны показались еще двое вооруженных. Все они неторопливо обошли коня кругом, держась в сторожком отдалении. Тот, что с браунингом, спросил Извекова, кем он будет и привел ли кого-нибудь за собой. Потом потребовали, чтобы он спешился, и взяли коня под уздцы.

Кирилла повели в лес по старой тропе. В нескольких шагах стояла привязанная к осине лошадь. В седло вскочил человек с браунингом — он командовал людьми. Скоро вышли на небольшую поляну. Туман здесь успел поредеть, было светлее. Извекова вывели на середину поляны и отошли от него. Он сказал себе, что, может быть, теперь конец, и улыбнулся тому, что во всем виноват сам. Он стоял, как перед расстрелом.

Спустя минуту против него на опушке бесшумно появились три парня и, раздвигая сапогами несмятую, тяжелую от росы траву, медленно зашагали к нему. Средний из них — высокий, очень худой, с подстриженными темными усиками, в запачканной панаме и накинутой на плечи помятой военной шинели — первым остановился перед Извековым и приложил руку к виску. Кирилл удержал дернувшуюся в ответ руку и кивнул. Все молчали. Голубыми навыкате глазами высокий рассматривал из-под пригнутого поля панамы лицо Извекова. Парень справа проговорил нахмуренно:

— Атаман Иван Шостак слушает. Что скажете?

Извеков повторил слово в слово то, что уже должен был передать Воронкин. Шостак молчал. В стане шайки принятого решения, очевидно, не было. Ее главарь раздумывал, прикрывая свои мысли словно омертвевшей неподвижностью испитого лица. Неожиданно оно все дрогнуло, от сощуренных глаз до рта, который засветился неровными зубами. Он спросил слегка певучим голосом:

— Вы требуете сдачи на милость?

— Я ставлю требование по расчету сил. Превосходство на нашей стороне.

— Мы о вас больше знаем, чем вы о нас, — сказал Шостак.

Он взглянул на своих подручных. Они усмехнулись. Лицо его опять остыло. Он добавил вызывающе:

— Красноармейский отряд заплутался в четырех соснах. А над начальником милиции сейчас наша воля.

— Я не боюсь и не верю, что вы меня убьете, — быстро и зло сказал Извеков. — Это вы прежнего начальника вокруг пальца обводили. За то он теперь и сидит. Вы меня убьете. Вас все равно разобьют, переловят. Уйти вам некуда. За нами Советская власть, а что

за вами? Вы убьете десятерых. Вас уничтожат всех. Сложите оружие. Я гарантирую вам жизнь. Если кого суд накажет, отбудете наказание — станете честными людьми.

Оба парня покосились на своего вожака с улыбкой. Его лицо не менялось. Кирилл чувствовал, что пора выкладывать козырь.

— Кто из вас хочет сегодня же пойти по домам, ночевать с женами? Все могут идти. Завтра явитесь, я сдам вас Советской власти. Вас будут судить, применят амнистию, как к добровольно сдавшимся, — закон вам известен. За свое слово я отвечаю. Убьете меня — вам хуже. Дальше бандитить не рассчитывайте. Ваши семьи у нас в руках. (Кирилл остановился на мгновение.) А у кого семей нет — красавицы. Сошлем всех. Сдадитесь — семьи будут пощажены, и вы к ним вернетесь.

Он замолчал. Шостак не двигался. По-прежнему выпяченным своим голубым взором он изучал лицо Извекова. Потом голова его нехотя оборотилась вправо, и, будто с удивлением, он хмыкнул, не открывая рта: «Гм?» Наверно, это была его манера спрашивать: парень, на которого он смотрел, потупился, но не ответил.

Шостак снял панаму, взмахнул ею, как флагом, и вдруг высоким, заливистым голоском пропел команду:

— Парламентера от-пу-стить!

— Я буду ожидать два часа,— сказал Извеков. — Прибыть надлежит с оружием во двор Воронкина.

— Переговоры кончены, — отрезал Шостак и отступил на шаг. Парни заслонили его собой, и через их плечи он, смеючись, сказал: — Прыткий товарищ!

Той жа тропой Извекова проводили на просеку. Ему отдали коня. Он перекинул поводья, поправил седло, не спеша сел и тронул шагом. Он думал: что же означала команда — отпустить? Отпустить на тот свет? Он ждал пули в спину. Он едва подавил желание выхватить спрятанный наган, чтобы отстреливаться. Но он продолжал ехать шагом. Уже уверенный, что туман скрыл его, он ударил коня стременами и поскакал.

Когда он завидел милиционеров и осадил коня с галопа, его встряхнуло ознобом, и он почувствовал, как ледяная нательная рубаха словно примерзает к лопаткам и плечам. Он приказал милиционерам занять секреты, чтобы надежно следить за бандой, и вернулся с Воронкиным в его избу.

Время, назначенное Шостаку на размышление, он провел в подготовке к схватке, на которую рассчитывал больше, чем на сдачу бандитов. Срок истекал, а их не было.

— Что, Воронкин, уйдут твои дружки?

— Один господь знает, — вздохнул Воронкин.— Не ихней кончины дожидаю, а своей...

— Убьют они тебя за то, что их выдал?

— Время такая, кажного кто-нибудь безотменно убьет...

Извеков не успел открыть рта, чтобы ответить: прискакал его помощник с донесением: банда, при оружии и во главе с вожаком, вышла на дорогу и двигалась к деревне.

Ворота были распахнуты настежь, в глубине двора, из-под повети выглядывал пулемет «максим» — оплот милиционеров.

Шостак подъехал к воротам и спешился. Извеков подошел к нему.

— Приняли условие?

— Не доверяешь? — почти с насмешкой спросил Шостак, опять уставив выкаченные глаза в лицо Извекова.

Оба помолчали.

— Сдашь оружие — заслужишь доверие.

Шостак содрогнулся всем корпусом, отвел лицо на свой отряд, застыл. Извеков следил за его опущенной правой рукой. Кисть ее была прижата к бедру, и тонкая, светлая материя пальтеца, затянутого в поясе офицерским ремнем, струисто переливалась под дрожавшими кончиками пальцев.

Не поворачиваясь к Извекову, Шостак небрежно сказал:

— Всякому делу свой черед. А выслуживаться не собираюсь.

Он вскинул руку, прихватил свою панаму, помаячил ею высоко над головой. Вся его команда, вытягивая шеи, чтоб лучше видеть его, зашевелилась. Хмурый парень — тот, который на переговорах в лесу первым обратился к Извекову, крикнул с коня:

— Слушай, ребята, атамана!

Шостак опустил руку, выждал тишины. По кадыку его, острым, большим углом выпиравшему на худой шее, видно было, как он раз за разом проглотил слюну. Потом пронесся вдоль улицы его пронзающий голос:

— Коней во двор, на коновязь! Пешим всем до одного в избу за мной!

Он резко повернулся и, обходя Извекова, пошел вперед на крыльцо.

В горнице он сел к пустому столу. Воронкин, свесив голову, стоял поодаль, у косяка. Шостак сказал ему со своей мгновенной гримасой усмешки:

— Что ж плохо принимаешь гостей, хозяин?

— Хозяин будут вот они — товарищ начальник, — ответил Воронкин.

Извеков вдруг приказал ему раздобыть ведро самогона, принести снедной зелени да зарезать барана. Воронкин не только безропотно, но с виду повеселев, бросился через сени на бабий кут давать распоряжения.

Извеков сел рядом с Шостаком, к торцу стола, почти под иконы. Атаман молча глядел за окно. Изба стала заполняться его людьми. Кто постарше, устраивались на лавках вдоль стен, помоложе скучивались у печи, в дверях, и все теснее набивались в сени, откуда уже выглядывали форменные фуражки милиционеров, одна к другой.

Еще на улице Извеков прикинул на глаз число бандитов. Оно было невелико, не больше трех десятков, и ему запало подозрение, что явилась не вся шайка, а могла какая-то часть укрыться в засаде, и, стало быть, милиции приготовлена ловушка. Но по словам Новожилова тоже выходило, что людей у Шостака мало, силен же он пособничеством кулаков. Наверно, Шостак, сам того не думая, навел Извекова на мысль выставить банде вина: откажись она пить — значило бы, что замышлена каверза; прими она угощение — тогда можно ее употчевать допьяна.

Извеков внимательно посматривал на собравшихся.

Все они держались за свое оружие. Наполовину были с винтовками, кое-кто — с охотничьими дробовиками, а двое — даже с берданками образца прошедшего века.

— Небогато оснащено твое воинство,— сказал Извеков Шостаку.

Тот сразу и нарочно громче отозвался:

— Хватает! Одним «максимом» нас не запугаешь.

— Одним не знаю, а моим трем нечего делать, — схитрил Извеков, но тут же пожалел: шумок, поднятый сапогами, оружием, пока люди размещались, заглох, едва они услышали разговор. Слова его были внятны всем, и тишина наступила такая, будто горница вмиг опустела. Начинать с угроз было не к месту. Но Шостак нежданно пришел Извекову на помощь.

— Ну, коли так, начальник, открывай конференцию по нашему перевооружению, — засмеялся он, — мы от твоих «максимов» не откажемся!

Хотя казалось, что шайка прибыла с готовым решением, но люди словно выжидали каких-то перемен, и смех главаря прозвучал одиноко. Извеков осадил его:

— Шутить рано. У нас не перемирие. Раз привел людей,— значит, условия мои приняты, надо их выполнить. Без общего вашего согласия ты бы сюда не явился.

Все глядели на атамана, но тут задвигались люди в сенях, стали расступаться. В горницу протиснулся Воронкин, со взъерошенным затылком, с мокрой лысиной, и — по четверти самогона в руках.

— Полведра расстарался, товарищ начальник, — бойко оповестил он. — Покеда разопьете, мужики промыслят еще... А барашка в сарае обихаживают. (Он мазнул пальцем по глазам, будто смахивая слезу.)

Девочка в синем сарафане робко вынырнула из-за его спины, кучей высыпала из подола на стол огурцы, веником бросила охапку стрельчатого луку. Женщины стали вносить щербатые чашки, стаканы, кружки. Кто-то зычно сказал:

— Поминки, похоже, ребята, а?

— Сватанье! — задорно поправил другой.

— А который жених?

— Вон красный околыш сговорил себе в бабы Иван-атамана.

Шостак вскочил. Худое лицо его удлинилось, побелело. Он шумно втянул воздух, но сдержал голос:

— Кто меня заместил — подыми руку!

Все замерли. Шостак переждал секунду, потом на свой лад певуче сказал:

— Моя воля — мой ответ. Наливай вина!

Он сел, опять отвернулся к окну. Начали разливать, поднесли первый стакан Шостаку. Он крикнул Воронкину, чтобы подошел. Тот принял стакан, но поставил его перед Извековым, поклонился ему, назвал его «уважаемым товарищем», осклабился. Извеков отодвинул вино, покачав головой.

Шостак трунливо спросил:

— Брезгуешь нами?

— Служба запрещает, — ответил Извеков и, погодя, договорил: — Да и не за что пока с вами пить.

Шостак снова быстро поднялся, отвесил поклон на обе стороны.

— Пейте, молодцы, на здоровье. Я выпью, чтоб мачеха-судьбина не больно вас била. Как порядили, так тому и быть. До нового свиданья.

Он, стоя, неторопливыми глотками опорожнил стакан до дна. Ему подвинули солоницу, дали луку. Принялись пить его побратимы, передавая друг другу сборную посуду. Захрустели на зубах огурцы, заскрипел лук. Стало шумнее, хоть слова еще были у всех редки и коротки.

Шостак придвинулся к Извекову.

— Что ты нас не разоружаешь?

— Не хочу вас унижать. Разоружайтесь сами.

Навалившись на стол и снизу близко подставляя свое лицо Извекову, Шостак остро-испытующе сверкнул на него взглядом.

— А что потом будешь делать?

— Потом всех перепишем, отпустим до завтра по домам.

— Перепишешь? По пачпортам или как?

— Ты что, паспорта своим выдал?

— Зачем выдавать? Революция пачпорта отменила. Остается тебе записать нас по кличкам.

— Один соврет, а скопом не удастся, — улыбнулся Извеков. — Думаешь, мало про вас знаем? Вот хоть бы ты. До войны певчим был, так?

Шостак откинулся к стене, тихо смеясь, взял стрелку луку, откусил, пожевал.

— В козловском соборе пел на клиросе, это верно. (Он задумался, но тотчас покосился на Извекова недобро.) Ты меня по лесам не за то ведь ловил, что я певчий?

Он подождал ответа. Извеков молчал. Шостак поднял взгляд к матице, губы его обиженно что-то пошептали.

— Я человек музыкальный, — сказал он со вздохом. — Мне много говорили: учись, Иван, вторым Собиновым сделаешься. Тенор у меня был атласный. И нынче еще, как запою, народ за мной — в огонь так в огонь. А женщины... Девицы эти... Да что себя растравлять! Пришла война, забрали в солдаты. Очень меня оскорбило, что природного таланта не пожалели. А там уж поехало...

— Что же, от белых сбежал? Несладко?

— Я за сахаром не гоняюсь. Мне справедливость подай, вот чего

хочу! Справедливости! — чуть не зарычал Шостак и грозно побил себя в грудь кулаком.

— В бандиты пошел за своей эсеровской справедливостью?

— Не за своей, а за моей и твоей, твоей человечьей, а не милицейской, и вон за его, и за его, за всейной, мирской! — повел Шостак рукою на окно и пропел: — Ребята! Разливай по чарочкам, потрудися! Да чтоб никого не обделять! По-божески. Слышишь, в нос бараниной шибнуло?

Шум скоро закружил по горнице винтом, на столе появилась третья четверть, в сенях пробовали песню, кто пристукивал прикладом по полу, кто завел спор. Воронкин с кем-то обнимался, какой-то малый голосил через головы бабонькам, чтоб они сбегали в погреб — поскрести по днищам кадушек, не осталось ли чего соленого, квашеного.

Шостак неожиданно забеспокоился, озирая пьяневших людей своих, да, видно, и по себе заметил, что хмель в нем не спит. Он опять пригнулся к Извекову.

— Лучше разоружи, а то вино ударило в головы. Не знай, что может случиться. Народ горячий.

— Ты не стращай, — сказал Извеков, — а скорей дай приказанье. Я приказывать не буду.

Шостак раздумывал. Извеков следил за ним настороженно: не угадать было, что бродит в уме у избалованного послушанием, самовольного вожака. Долго ждать, как дело само собой пойдет дальше, казалось, опасно, но вмешаться в него было, пожалуй, еще опаснее: люди только разгуливались, заливая вином горькие свои росстани. Нанеси обиду их гореванью — разве не могут они со зла повернуть на попятную от своего раз принятого решения? Извеков положил про себя выжидать еще пять минут — что будет? — и посмотрел на часы. Шостак мгновенно ожил, приметив его движение.

— Тревожишься? — с участливой издевочкой спросил он.

— Нет, — спокойно ответил Извеков, — только смотрю, куда девалась у тебя лесная храбрость? Раз твой собор преподобный постановил сдаться, чего же ты мямлишь?

— Ты не промах, начальник, — ухмыльнулся Шостак.

Вдруг почти шепотом, но очень ясно и строго он спросил:

— Что ты давеча, в лесу, сказал про красавиц? Моя жива?

— Жива. Сдержишь слово до конца, жива и останется.

— А что конец?

— Сейчас сложишь оружие, а завтра — в сельсовет с повинной.

— Это не конец. Это кончик, — пробормотал Шостак. Губа его в усиках дрогнула, скривилась. Помедлив, он отпил глоток из стакана. Лицо его сморщилось, но он пересилил отвращение, поманил пальцем своего подручного, сидевшего от него слева. Тот перегнулся через стол. — Угомони их, — велел Шостак.

Парень встал, приподнял полу своего солдатского френча, вынул из коротких ножен на поясном ремешке финку, обушком ее звонко постучал в пустую четверть. Люди не спеша стихли.

— Атаман говорить будет! — угрюмо объявил парень.

Извеков видел, как Шостак сучил неуемными пальцами на коленях, потом сжал кулаки, уткнул их в край столешницы, с трудом поднялся.

— Скажу вам это слово, братцы, и нет больше моей воли над вами — исполню свое полномочье. Пора. Сколько сокол в небе ни летай, а на землю сядет. Не просили мы крестить нас в крови, да уж семь лет, как в купель нас окунули. Коркой покрылись сукровичной с головы до пят. Смерти не страшимся, да кто ее ищет? Осудят нас или помилуют — что было, того не переделаешь. В войну всяк по правду трубит, да только верх берет сила. Я тоже свою совесть не заспал, — как хотят, пускай обо мне думают. Не на разбой вас вербовал. Сами как понимали, так поступали. За веру вашу кланяюсь вам, а в чем провинен — отпустите.

Он поклонился, едва не тронув стол головой. Никто не шелохнулся — сидели, стояли бессловесно, и у всех опущены были глаза. Шостак окинул избу пылким взглядом, не встретил в ответ ни одного прямого взора и тоже опустил воспаленные веки. Негромко затем припечатал кулак к столу, задел и подхватил стакан — не дал опрокинуться, только плеснул мутным вином на выскобленные добела доски. Распрямился, немного повысил голос:

— Слушай, ребята, мой последний приказ!

Он сухо закашлял, скулы его потемнели, кадык челноком скользнул под подбородок, опустился. Он напряг дыхание.

— Приступить к сдаче нашего оружия Советской власти!

В избе по-прежнему не двинулся ни один человек.

Шостак ногой толкнул колени Извекова, молча протиснулся между ним и столом, подступил к людям у печи, развел их на стороны руками.

— Складывай, ребята, в порядке! Огневое, холодное. Огнеприпас. Полностью. Приступай!

Он расстегнул пояс, стащил с него свой браунинг в кобуре, бросил на пол. Достал из кармана две полных обоймы, нагнувшись, положил их рядом. Долго не мог, подпоясываясь, попасть концом ремня в пряжку. Крикнул обрывисто:

— Спета песня! Нет атамана!

Попятился и сел не на прежнее место, а на край лавки, спиной к Извекову. Вытер ладонью лоб, сплел пальцы рук, опустил их низко меж колен.

Трудная минута прошла в оцепенении, пока не поднялся первым из-за стола малорослый, с виду старший по годам, уже с désединой мужичонок. Подойдя к печке, он аккуратно поместил на полу, рядом с браунингом Шостака, свой дробовик, скинул через голову замызганный парусиновый подсумок с патронами, сказал скребучим голоском:

— Крепись характером, давши слово-то, братцы мои! Вон куда линия поворачивается. Не как бабка загадала, а как карта вынулась.

Всех будто расковала немудреная прибаутка — люди задвигались, стали решительнее выходить один за другим и кто кидать оружие злобно, кто класть его примиренно. Быстро — со звяканьем и стальным скрежетом стволов, с грохотом березовых прикладов, со скрипом и хлястом ремней — вырастала нестройная куча винтовок, пистолетов, шашек, сабель. Двое милиционеров по знаку Извекова протиснулись толчеей в горницу, стали у наваленного оружия на караул.

Последним снял свой маузер в деревянной кобуре подручный Шостака и, отойдя, хотел замешаться среди людей, но Извеков громко позвал его:

— Эй, что же финку не сдал? Приберечь думаешь?

Парень обернулся, отстегнул нож от пояса и с размаху кинул на стол, Извекову.

— Подавись! — выжал он сквозь зубы ненавистно.

Извеков не дотронулся до ножа.

— Возьми, положи куда следует! — сурово сказал он.

Парня словно кто-то толкнул из стороны в сторону. Качаясь, он подошел к столу, взял нож. Секунду глядел на Извекова сощуренно, потом распахнул по-бычьи недвижимые, дымкой замутневшие глаза и тяжко шагнул к нему.

Извеков вырвал из-за пазухи наган. В этот момент вспрыгнул и всем телом загородил его от парня Шостак.

— Пули захотел, дуралей? — крикнул он.

Ближний милиционер оттащил парня за руку, выбил из его пальцев нож.

Извеков встал, спрятал наган. Оглядывая людей, он — уже полный хозяин — спросил:

— Ни у кого не осталось оружия? Добром не зачтется, если кто не сдал.

Он повременил, еще раз озирая всю горницу.

— Теперь слушайте меня. Я знал, у вас хватит соображения. Сдаваться вам было не миновать. И не потому, что испугались. Вы смельчаки не хуже, чем головорезы. Испугались вы белых, а не красных. Красные мужиков шомполами не драли. А вы — мужики и хорошо знаете, что вас всех перепорют, дайте только себя оседлать помещику. Вы думали, уйдете от белогвардейцев, значит, уйдете и от помещиков. Ан нет! Кулак — тот же помещик, разве что посмекалистее. За него эсеровская колокольня трезвонила. Против чего вы дрались? Против хлебной разверстки. А у кого хлеб? Кулацкие амбары-то попузатее ваших. Да и времена теперь другие. Белых мы разбили. Сибирь, Украина, Кубань стали советскими. Нужды в хлебной разверстке нет. Она отменена. Колокольня эсеров с вашим звонарем Антоновым рухнула. Чем нынче подманивают вас кулаки? За что вам драться с большевиками?

Он остановился. Исподлобья горящие взоры людей взыскательно ждали, что дальше, и он чуял, что в безмолвии ожидания люди напрягали головы уже не той думой, с которой прежде слушали своего вожака.

Медленно подняв руку, Извеков выпрямил ее, оттопырил и словно бы вонзил указательный палец в кучу оружия на полу.

— Вы побросали свои самострелы к ногам Советской власти, потому что ноги ее твердо стоят на земле. И потому что знаете, что огнем да ножом ничего, кроме преступления, не достигнете. Вас подучивали не признавать большевиков. А что вышло? Не признавали большевиков попы с архиереями. Да нынче вон в Сибири за Советы молебны служат. С похмелья, видно, после колчаковцев. Чадам своим возвещают нелицемерную покорность предержащей власти, «яже есть, — говорят по апостолу, — от бога». Ну, если рабочих и крестьян попы в ряд со своим богом ставят, мы мешать молебнам не будем. Не признавали нас министры Антанты. Да как пришлось убраться из России восвояси всему разношерстью иностранных вояк с кораблями, пушками, танками, так и Антанта заговорила с нами по-новому. Тихоладно торгуют нынче с Советами и Англия, и Германия, и все восточные соседи. Денежки-то манят! Заморский купец тоже, наверно, возносит моления ко господу, да уже не о победе над нашей революцией, а, поди, о преуспеянии своих контор в сделках с Красной Россией.

Что-то будто придержало Извекова — он отвел глаза к окну. День давно разгулялся, сиял синевой сентября, и ветер разносил над крышами редкие стайки первых золоченых березовых листьев.

— С великой Красной Россией! — вдруг тише договорил Извеков и продолжал по-прежнему: — Что же остается делать вам, бандитам, во зеленом во лесу, по оврагам да буеракам? Не признавать победивших большевиков? Становиться к стенке и душу отдавать за разгромленную контрреволюцию? Нет, на этакую дурь вас больше никто не подобьет. Потому что шкурятину-то вам пришили бандитскую, а мясо ваше, с мослами и мозгами вместе, осталось у вас крестьянское. Глаза вострые, сметка выкладистая, рассчитали вы теперь верно: куда денешься, если не выйдешь на улицу да не поклонишься всему честному народу? Народ-то ведь большевиков признал еще в Октябре. И вышел победителем. Счастье ваше, что повинились перед ним. Не сносить бы вам головы... Вон ты (Извеков кивнул), ты говоришь: карта вынулась не та, какую бабка загадала. Вольно слушать бабок. По ворожеям ходить — до острога доворожиться. Тебе бы сперва умом раскинуть...

— Дозвольте! — перебивая, вскинулся седоватый мужичонок и даже привскочил. — Дозвольте, ваше... товарищное начальство!

— Ну?

— Желательно знать, к примеру, как располагает Советская власть по случаю летошней засухи? Народ голодовать начал, а зима, между прочим, еще и на пятки не наступила.

Мужичонку было тесно: он не то стоял, не то сидел, зажатый соседями по лавке. Голову держал он набочок, будто тянулся заглянуть в неудобную маленькую щелку, и ладонью примял бороденку к губам. На него сразу обернулись с любопытством. Видно стало, что в банде был он вроде школьного озорника.

— А ты с голодом думал своим ржавым дробовиком побороться? — гневно спросил Извеков. — Вдвойне, втройне работать заставим, чтобы одолеть народное бедствие!



— Да уж как пить дать, не иначе, — поубавил прыти вопрошатель, но опять заглянул в заманчивую щелку. — Еще, будьте добреньки, скажите нам разъясненье: прощеные мы теперь, или бы выкланять надо отпущенье-то? И, опять же, у которой такой дистанции просить?

— Повторять не буду. Закон вы знаете, — ответил Извеков. — Я свое военное дело выполнил. Допивайте, что на столе, да кто из ближних деревень — ступайте по домам, мойтесь в банях, отсыпайтесь. Кто из дальних — бани вам тут вытопят. Завтра ровно в полдень явиться всем в сельсовет. Да чтобы без обмана! Не то будет худо...

Так закончила свои дни шайка Ивана Шостака.

Последний час в избе Воронкина прошел громко. Ловко, по-артельному разобрали накромсанные куски баранины, разлили расстанные чарки, лихо загорланили песни. Сам Воронкин то подтягивал певцам, то плакал, то подлещивался к милиционерам, допытываясь потихоньку, вышел ли он из опасной игры целым, а свою роль в игре выславлял заслугой.

Извеков в тот же день повез Ивана Шостака в сельсовет. Сидя рядом в телеге, они почти всю дорогу не проронили ни слова. Только на виду села Шостак спросил:

— Ты мне свидание устроишь... с кралей моей?

— Увидишь ее на первой очной ставке.

— Мне бы в ее очи окунуться, — вздохнул Шостак, — а все равно, в каком месте. Хоть на курином нашесте.

Он засмеялся, но оборвал себя, нахмурился, сказал обиженно:

— Кабы не я, полоснул бы тебя финкой мой порученец. Я тебе жизнь спас. Должен понимать!

— Проценты с меня хочешь содрать? Не удастся, — невозмутимо отговорился Извеков.

— Черт тебя родил, бесчувственного! — буркнул Шостак.

Извеков лишь улыбнулся. Они больше не говорили. Уже назавтра, когда Извеков сдавал его Новожилову, Шостак сказал на прощание:

— Ты сдержал слово, пустил моих ребят к родным на побывку. Не струсил. Я тоже своему слову крепок. Так вот заметь: решетки мне не помеха, через месяц я из тюрьмы уйду.

Слух о поимке и сдаче банды без единого выстрела облетел скоро весь уезд. Начальника милиции узнали по имени, и на первых порах загорелось что-то вроде тяжбы, где Извекову быть дальше — возвратиться в армию или оставаться на новом посту. Армия, конечно, перетянула.

Отсюда пошла его дружба с Новожиловым. Расставаясь, они проговорили вечер один на один и узнали друг о друге все, чем наполнено было первое их десятилетие пребывания в рядах большевиков. Новожилов сказал тогда, сжимая руку Извекова:

— Теперь у меня на свете два человека, которым верю я совсем одинаково. Первый — это я, второй — ты.

Много позже, случайно, узнал Кирилл, что и правда Иван Шостак угрозу свою исполнил, бежав из заключения и уведя с собой конвойного, который водил его на допрос. Как распорядилась с ним потом судьба, — об этом Кириллу слыхать не довелось.



Лавка в пути

В. ПОНОМАРЕВ, А. УЗЛЯН

Давайте поедемте с нами по деревням Толочинского района Белоруссии. Правда, машина наша будет не совсем обычна. Это автолавка, которая колесит по этим дорогам уже третий год.

«Хозяин» ее — Александр Николаевич Маркиянович, или, как его называют покупатели, просто Саша. Он не только продавец, но и шофер. И сейчас перед выездом деловито осматривает машину. Осталось только протереть стекло — и в путь...

Мы едем в деревню Катужено. Но первая остановка еще в дороге. Колхозник Иван Хворостухин остановил машину.

— Саша, мой заказ выполнил?

— А как же, заезжай в деревню!

...Катужено. Не успел Саша разложить свой товар, открыть прилавок, как к автолавке уже спешат люди.

Ребятишки, конечно, первые. Потом появляются взрослые. Саша знает: ох, как разборчивы сейчас стали девушки: если платье,— так подавай такого фасона, чтобы не отстать от модниц Минска и Москвы.

Саша многие запросы просто предвидел. Он знает, кто готовится к свадьбе, к новоселью, кто ждет ребенка, и заранее запасся нужными товарами. Сложнее обстоит дело, когда заходит речь о дефицитных товарах. Тут в первую очередь обслуживаются члены потребительского союза. Это их уставная привилегия. У толочинских колхозников большим спросом пользуются, например, швейные электрические машины. Именно такую машину Подольского завода заказывала пайщица потребительского союза Мария Ивановна Пакура. Сегодня Маркиянович рад сообщить: «Ваш заказ выполнен!» Вручив покупку, Саша учит: «Вот как надо обращаться с этой машиной».

Шестидесятитрехлетний Александр Филиппович Разухабов попросил соломенную шляпу. Односельчане смеются.

Гармонь хороша!

Саша Маркиянович принимает новые заказы.

— Вот как надо обращаться с этой машиной,— учит Саша покупательницу.



В дороге...



Ребятишки, как всегда, первые.

Протереть стекло — и в путь.



— Готовь сани летом, а телегу зимой! — отшучивается Александр Филиппович.

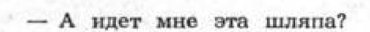
Николай Скуратов поинтересовался новой гармонью. Растянул меха, а девушки запели частушки. Сколько теперь петь этой гармошке — на свадьбах, на праздниках урожая!..

Покупатели расходятся, а в Сашиной тетрадке появляются новые заказы. Звеньевая по льну Ефросинья Игнатьевна Скуратова просит для дочки хороший шерстяной костюм, а для сына — летнее и зимнее пальто.

— Только покрасивее и получше, в цене не стесняйся,— добавляет она.

...И снова лавка в дороге. Деревня за деревней: Канапельчицы, Поречье... Не заметили, как начало темнеть. Вскоре вернулись в Толочин. Сколько же наторговал Саша за день? Оказалось, больше семи тысяч рублей.

Саша Маркиянович успевает обслуживать столько же покупателей, сколько выпадает на пять продавцов стационарных лавок и ларьков. Вот и получается, что автолавка очень удобна для населения и выгодна для торговых организаций. Право, жаль, что таких лавок у нас еще мало.



— А идет мне эта шляпа?

Новая встреча с Альбером Марке



Павел КРАВЧЕНКО

Любители живописи в нашей стране хорошо знают картины французского художника Альбера Марке. И в собрании Музея имени А. С. Пушкина в Москве и в Ленинградском Эрмитаже зрители всегда подолгу любовались этими ясными, по-особенному свежими пейзажами, пронизанными светом и тревожной радостью. И вот перед нами другие картины Марке. В залах его выставки всегда много народа. Это новая встреча с французским художником, знакомым и будто бы незнакомым... Ведь мы знали лишь ранние его работы, написанные до 1920 года, а здесь впервые видим полотна и акварели двадцатых, тридцатых и сороковых годов!

Выставку организовали общества «Франция — СССР» и «СССР — Франция». Вдова художника госпожа Марсель Марке предоставила для нее свое личное собрание произведений покойного художника.

Честно говоря, на выставку входишь с чувством некоторого беспокойства. Не изменился ли за последние три десятка лет своей жизни художник? Не сник ли он, не изверился ли в жизни? Не поддался ли «привычной» надломленности и отчаянию — всему тому, чем за последние годы отмечены столь многие работы его французских коллег?

...Сверкающий «Порт Гавр». Свежий ветерок, легкий пирс, многолюдье. На воде — паруса, а чуть подальше, в легкой дымке,— краны, краны... И море. Альбер Марке всю жизнь любил писать воду: реки, заливы, портовые картины.

До сих пор мы знали главным образом его парижские пейзажи, многолюдные берега Сены, порт Гонфлер, гавань в Ментоне. Мы не знали его марсельских работ, алжирских и тунисских его картин, не имели представления и о полотнах «Ла-Фреттского» периода. И вот ослепительный «Вид на Алжир со стороны мола», где будто из самой воды поднимается этот старинный светло-розовый город, как бы рожденный из моря. Бывает у Марке такая яркая Африка, охваченная нестерпимым зноем, как в картине «Арабская женщина в Сиди-Бу-Саид», что смотришь на нее, и кажется: голова кружится,— а иногда Африка предстает неожиданно туманной, немного мрачноватой, как в картине «Порт Алжира в тумане».

И все снова и снова пейзажи Франции. «Город Булонь-сюр-мер». В спокойствие этой картины вдруг врывается суетливый, пыхтящий паровозик, а позади — зеленая вода, и за ней встает в легком мареве город. Марево хочет обесцветить город, но не может этого сделать: яркие красные крыши все так же озорно поблескивают над водой... Нет, краски Марке не утратили своей свежести!

Удивительной ясности картина «Лувр»! Лувра здесь, собственно, почти и не видно. Он там, за рекой, за мостом и зеленью. Над виднеющимися крышами Лувра лишь бегут по небу беспокойно-радостные, быстрые облака. «Сад в Поркеролле» — картина такой внутренне глубокой лиричности, что от нее уходить не хочется. «Новый мост под дождем». На репродукции трудно передать впечатление от подлинника — суровые краски зеленовато-желтого города в дождь. На заднем плане встают сиреневые дома на тревожном фоне неба. Это можно один раз увидеть в природе или на картине Марке.

Перед небольшой картиной «Мольберт и полосатая штора» зрители стоят подолгу. Краски на этом полотне достигли такой силы, что, кажется, уже не краски, а настоящее солнце ярко светит сквозь эту штору! Фокус? Нет, не фокус — щедрая радость художника.

Незадолго до смерти Марке написал картину «Новый мост в тумане». Она тоже экспонирована на выставке. В год своей смерти Марке (он умер в июне 1947 года) написал восемь работ. Семидесятидвухлетний художник, усталый и больной, часами просиживал у окна, чтобы еще раз по-новому запечатлеть любимый город. И последние его полотна полны все такой же огромной жизнеутверждающей силы, как и прежде...

В номере гостиницы мы беседуем с госпожой Марсель Марке, вдовой художника.

— Вы, конечно, знаете,— говорит она,— что Марке с большой симпатией относился к Советскому Союзу, к вашему народу, вашему новому строю... Видите ли, детство и юность были у него очень тяжелыми. Несмотря на всю самоотверженность его матери, не жалевшей ничего для помощи сыну, он все-таки не расставался с нуждой в течение всей своей молодости. Достаточно сказать, что, когда он уже учился в школе изящных искусств и какой-то проворный апаш украл у Альбера пальто, ему пришлось два года трудиться, чтобы выкроить средства на покупку нового... Дело не в пальто, конечно, и не в ловкости апаша. Внимательно приглядываясь к окружающей жизни, Марке возненавидел нищету и мечтал о таком устройстве, когда стали бы невозможными привилегии одних слоев общества за счет других. Именно поэтому он с таким сочувствием говорил всегда о вашей стране.

В 1934 году,— рассказывает госпожа Марке,— мы с мужем побывали в Советском Союзе. Нас, туристов, было тогда около ста человек. Были и скептики, были просто любопытные, и были люди, симпатизирующие вам. Мы «состояли», конечно, в последней группе. А когда сошли с судна на берег, то нас просто покорили ваши музеи, города и люди. Марке был особенно тронут тем, как встретили его советские художники и любители живописи. Он был очень взволнован. «Я знал,— говорил он,— какой здесь героический народ, но не знал, какой он замечательный, простой и сердечный». Он влюбился в строгую красоту Ленинграда, в орнамент московских улиц, расходящихся веером на все стороны света, в пейзажи Харькова, Ростова, Тбилиси, Батуми... Мы приобрели здесь много друзей. Альбер Марке решил обязательно приехать сюда еще раз, чтобы написать пейзажи Ленинграда, Москвы.

Помешала война. Марке всем сердцем ненавидел фашизм. Он был в числе тех художников, ученых и писателей, подписи которых стояли под антифашистскими воззваниями и протестами. Перед тем, как наци вошли в Париж, мы переехали на юг, в местечко Серэ у Перпиньяна. А потом в сентябре 1940 года мы перебрались в Алжир, где и жили до мая 1945 года. Марке ни минуты не сомневался в том, что Советская Армия разгромит полчища гитлеровских бандитов. В Алжире мы постоянно слушали московские передачи на французском языке...

Мы попросили госпожу Марке рассказать о взглядах художника на искусство. Кстати, какие из своих картин особенно нравились самому Альберу Марке?

— На этот вопрос ответить трудно.— Марсель Марке энергично проводит рукой по столу.— Пожалуй, больше всего Альберу нравились те картины, которые ему еще предстояло создать. Что же касается его взглядов на искусство, то они были достаточно определенными. Изображать подлинную жизнь во всех ее проявлениях, не замыкаясь ни в какие «башни», был его основной девиз. Еще когда он учился у Гюстава Моро, он больше всего любил рисовать людей в движении, на улице. Часто он отрывал своих товарищей от мольбертов, обнимал их за плечи и требовал: «А ну, на улицу, на улицу! Пойдем поближе к жизни!» Жизни он и остался верен до самой последней своей картины.

«Теоретизировать» он вообще не любил,— добавляет с улыбкой госпожа Марке.— Вот сейчас одновременно с вашей выставкой в Москве открыта выставка Альбера и в городах Соединенных Штатов; она побывала уже в Нью-Йорке, в Чикаго. Сейчас эта выставка в Цинциннати. К сожалению, в Америке, по-видимому, мало знакомы с картинами Марке. И знаете, почему? Думаю, потому, что там успеху художника должна предшествовать широкая реклама — «паблисити». А Марке, будучи человеком весьма скромным, чурался любого «паблисити» и публично с речами никогда не выступал. За всю свою жизнь он только один раз согласился принять журналиста. Впрочем, и этот журналист остался очень недоволен беседой, потому что Альбер почти все время молчал и лишь очень односложно ответил на три—четыре вопроса, сообщив год рождения и несколько дат своей жизни. Когда же после этого приходили другие, он обычно говорил мне: «Передай ему, что я уже все рассказал тому, первому. Пусть прочитает и перепишет все, что там написано».

«Я не создан для того, чтобы разговаривать о живописи,— говорил он.— Я рисую и пишу. Если кто-нибудь не понял моей картины — значит в этом либо моя вина, либо вина того, кто не понял, но добавить к моей картине мне, право, больше нечего».

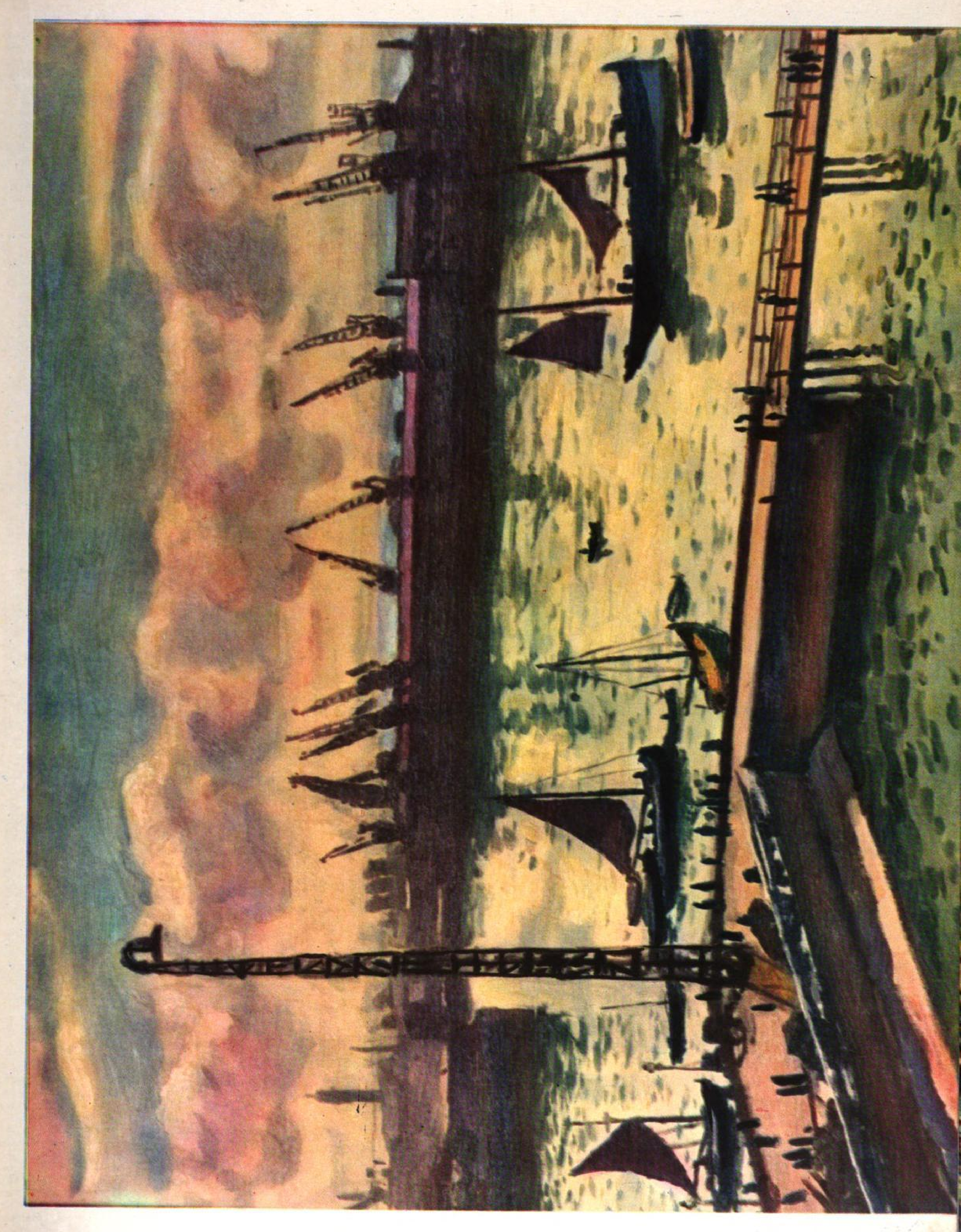
На прощание мы попросили Марсель Марке написать нам в блокнот несколько строк для читателей «Огонька». Она написала:

«Я очень тронута успехом выставки произведений Марке в Музее Пушкина и оказанным мне приемом. Я увожу с собой прекрасные воспоминания о моем пребывании в Советском Союзе и надеюсь вскоре посетить его снова.

Марсель Марке».

Марсель Марке (слева) среди посетителей выставки Альбера Марке в Музее имени А. С. Пушкина.





Альбер Марке (1875—1947). ПОРТ ГАВР. 1934 год.

Альбер Марке. НОВЫЙ МОСТ ПОД ДОЖДЕМ. ПАРИЖ. 1935 год.

ПОРТ В ЛА ГУЛЕТТ. ТУНИС. 1926 год.



Красный день

Виктор РЕВУНОВ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

XI

Снова я на переправе, куда приехал на попутной машине. Машина повернула влево, на Озеры, а я остался перед дорогой, по которой еще недавно шел сюда, ничего не зная о Кате, глядел с надеждой с этого берега в даль за рекой... Там я был, там, знаю, лежит неподвижно суровый камень.

Горсть земли с прахом Кати увозил я с собой...

— А, старый знакомый! — сказал Мильгунов, проходя мимо меня; он только что перевез на ту сторону машину. Был он в мокрой рубахе, в мокрых, завернутых на босых ногах сатиновых шароварах, к которым прилипла осока.— Как добрался тогда? — спросил он из сторожки.

Переодевшись, Мильгунов сел на порог, снял с гвоздя на стене балалайку и, наклонив голову, принялся настраивать, перебирать струны.

Я сел возле него на старую покрышку от машины. Спешить мне некуда. Поезд на Москву будет лишь вечером, да и кто ждет меня дома!

Задумавшись, глядел я за реку — там люди, с которыми сдружился. Когда я снова увижу их? Пройдет, верно, эта грусть еще не остывшего прощания, и я позабуду про них.

Целую неделю пробыл я в Желанье: чего-то все ждал, какую-то радостную весть, чуда. Но так ничего и не случилось.

Перед отъездом я вновь прошел по Катенькиным местам; показала мне их Евдокия Ивановна. Был на реке за деревней, на косе, песок которой чуть просвечивал под темной водой с листьями кувшинок.

Постоял я тогда за чуланом под березой. Катя ее посадила. Выкопала в лесу побег с корнем и врыла тут. Теперь береза выше чулана. То зашелестит с мягким всплеском листва на ее поникших ветвях, то утихнет, и тогда слышно, как зудят пчелы: манит их сюда в жаркий день сладкая испарина на листьях.

Попрощался с хозяевами. Евдокия Ивановна поцеловала меня.

— За Катюшу, родимый. Да не скучай.

— Погостевать когда приезжайте, всегда рады будем, — сказал Андрей Петрович, и, когда машина тронулась, увидел я в его глазах и в глазах Евдокии Ивановны слезы...

И вот Катя снова звала меня в ту даль. Неужели мертвые так зовут?

— Ты, миленок, не балуй,
При народе не целуй.
Целуй, целуй в улочке,
В темном переулочке, —

подыгрывая себе, негромко пропел Мильгунов и засмеялся.

— Ишь ты, леший!.. А я тогда горевал за тебя, малый. Только ты ушел — гудит машина из геологоразведки. Корреспондент и уехал. Сочинение его в газете не читал?

Мильгунов принес из сторожки газету, от которой с края осторожно оторвал бумажки на цигарку.

— Говорят, тут один человек ходит, любашу свою ищет. На войне она потерялась где-то в наших краях. Вот почитай, — сказал он и снова с ласковой мягкостью зазвонил по струнам:

— Дайте лодочку-моторочку,
Серебряно весло.
У меня за реку-матушку
Платочек унесло... Эх!

Горе его, что забыть он ее не может, — проговорил он.— Если правду это говорят. А то ведь и прискажут. — Мильгунов тихо наигрывал на своей балалайке, а я читал рассказ.

Не стану я пересказывать его содержание: все здесь было похоже на то, как я приехал узнать про Катю. Так она и в рассказе звалась — Катя. Не иначе, как Евдокия Ивановна рассказала все автору: ведь он был в Желанье.

Я лишь впишу сюда самый конец рассказа.

«Он стоял возле ее могилы, опустив голову. «Всюду я искал тебя. Наконец-то нашел. Спи, родная. Ты в бою недаром жизнь свою отдала», — подумал он и посмотрел на светлое здание школы среди сада».

— Название-то какое — «Любовь»! — сказал Мильгунов. — Хорошо! Да только уж очень скоро ободрился он, даже тоска меня забрала, ей-богу.

— Почему же тоска? — спросил я.

Мильгунов глухо положил руку на струны.

— Почему тоска? Пример-то какой подают! Такими примерами и человека исказить недолго: зачерствеет он, жалости в нем не останется. «Спи, мама, недаром ты жизнь прожила», — подумает он и на новые свои штиблеты посмотрит. Так-то выходит?

Без жалости нельзя. Я раз, помню, пришел домой выпивши, и крепко, что через порог никак не перевалю. Сыночек-то за руку меня взял: глупый, помочь хотел. Я как переступил — и на ножку ему. Побежал он от меня, ковыляет, что хроменький. Так меня и обожгла жалость. Схватил я его. «Прости, сынок. Прости, нечаянно я!»

После того раза на вино глядеть не могу, а то запивал. Рухну на топчан в этой вот сторожке. Трясут меня: перевоз давай! А с того берега и не дозовутся. Дома жена бранит, плачет. Какая ей со мной жизнь!

Пить прекратил категорически. Сам теперь не надивлюсь, как живем. Баба помолодела, захорошелась, посмотрит искоса на тебя — играй, балуйся с ней. Гляжу я на нее и думаю: такую тебя обижал, за дверь выталкивал, признаюсь, на мороз даже, бывало. Она в войну ждала, мучилась, а ты, змей, думаю, чуть ее на бутылку с поганью не променял.

Он свернул цигарку и подал мне кисет с вышитой на нем красной чайкой.

Я закурил и посмотрел на чайку. Она, казалось, летела из последних сил на своих длинных, красивых, будто надломленных крыльях.

— Долгое время, уважаемый, обо мне и слуху-то не было. Угодил я в сорок первом году в плен. Была такая осечка. Да чего на войне не бывает! В окопах врукопашную сошлись. Теснота — не размахнешься, сплелись и свои и чужие, давим друг друга, дыхнуть нечем. Росту-то я высокого, только распрямился, кто-то меня и огрел по голове.

Поднялся я, а кругом немцы, все в грязи, кровь сплевывают... Вот он и плен.

Привели нас в сарай, в какую-то деревню. Тут еще человек сорок наших было. Я еле дошел, спасибо одному товарищу: подмог.

Повалился я на землю в этом сарае. В голове звон, голоса разные кличут, и так вот нехорошо, тошно, что места себе не найду.

День просидели мы, ночь, а утром выстроили нас перед сараем. Кто чуть стоял, раненых, тех за дорогу оттолкнули. Остальных погнали нас, голубчиков. Не на запад, а в нашу сторону. Сперва по большаку шли, потом на проселок свернули.

Как свернули на проселок, тут из ручья попить разрешили. Что было! Одно слово — водица. Плакали даже люди: так изжаждались. Пью и не напьюсь, словно бы холодный воздух глотаю.

Присели и немцы в тенек — разморились: жара несусветная.

Кому вода, кому воля, где все твое. Ушли двое. Есть же ребята лихие. От ручья — да за деревья. Немцы стрелять, а их и след простыл.

Обомлело у меня сердце: мне бы с ними! Вот как я жалел после, что проморгал такой момент.

Пригнали нас на поляну в лесу. Тут уже люди работали, пленные, как и мы. Котлован рыли. Нас поставили вести просеку на большак.

Поработали мы недели две. Одна баланда: на кружку воды ложка муки, — долго разве протянешь! А тут еще комары последнюю кровь сосут. Каторга! Кору ели, шишки молоденькие на елках. От поноса валились люди. Вонь, зараза кругом, жижа кровавая.

Кто не вставал, тех немцы пристреливали. Проволокут мимо тебя человека в лохмотьях, живой еще. Знает он, куда волокут. Через минуту над ним уж землю притаптывают. Видел я, как в барак, где охрана была, девушку провели. Верно, где-то рядом поймали.

«Эх, — думаю, — за сто верст это проклятое место обошел бы!»

Окончательно я погибать стал. Чуть хожу и не верю уж, что это я, словно бы это кто другой.

Посчастливилось мне, скажу. Дежурить мне попало на кухне. Солдат там один постоянно за повара был. Девушку ту, пойманную, к нему определили.

Стали мы пилить с ней дрова. Едва-то я норму напилил, сел на полено. Гляжу на траву, а трава черная. Сунула мне девушка что-то теплое в руку.

«Ешь!»

Пожевал я, и вот, дорогой, чую, как во рту клейкое с кислицей разлилось... Хлеб! Глянул, в руке у меня лепешка, в золе испечена, и угли в этой лепешке. Сроду я такого вкусного хлеба не ел! Вот тебе и ржаное зерно — мучица ржаная! Не думал прежде, что такая в нем сила. Ожил я, воскрес.

Пошли мы за водой с этой девушкой. Катя ее звали.

— Катя! — повторил я, как будто только и была на свете одна Катя.

— Да, Катя... Миланова. В Озерах помнят ее, да и я не забыл... Пошли мы тогда с ней за водой. Немец сзади с автоматом. Идем, а кругом такая яркость от цветов. Глянул я в орешники, а там и воздух-то от листьев зеленый.

«Кто ж вам такую власть надо мной дал, над моей жизнью? — думаю. — Это же моя жизнь, я ее хозяин, и все вокруг мое, проклятые!»

Развернулся я, ведром в немца пустил. В грудь попал. Грянул он наземь.

Я уж в орешниках. Оглянулся, а она, девка, растерялась, стоит. Что ж, думаю, особое ей приглашение надо, а может, ей и при кухне ладно?

Кинулся по орешникам. Частый орешник. От пули он хорош, а бежать плохо. Не разбирал, конечно, месил все перед собой. На лужайку выбег. Перебежал лужайку — оглянулся опять: что с девкой, неужели так и осталась? А она по краю лужайки бежит.

Обождал ее — секунду потерял, но зато вместе, вдвоем другое совсем дело: как подхлестнуло что, как все равно друг другу крылья мы дали, и только душа риском замирает, вроде бы ты с высоты оборвался.

Стрельба поднялась, тревога; вой от сирены

Окончание. См. «Огонек» № 13.



на весь лес. Жутко! А для них работа — человека изловить и на веревке повесить. За эту исправность и получку получают.

Выскочил из орешников — тут сразу река.

«Умеешь плавать?» —Катю спрашиваю.

Она без ответа ботинки снимает, поплыла. Я и свои ботинки в воду зашвырнул. Живы будем — босые дойдем, доползем.

Плавала она хорошо. На бок как легла — и пошла загребать. Чуть я за ней поспевал, саженками шлепаю, раз пять шлепну, а она с одного раза это же возьмет — режет воду. Безусловно, выучена к этому делу была.

Берег перед нами крутой, обрывом, негде и выбраться. По корням лезли. Скользко, сил нет! Как человек за жизнь цепляется, что и неправдоподобно!

Взобрался, на живот лег, держусь за какой-то ствол, а ноги висят: поднять не могу. Она там еще внизу барахтается.

«Держись,— говорю я ей,— за мои ноги».

Выволоклись кое-как и пошли скорей от погони. Еще два раза реку после того переплывали: следы путали. Не знаю, как их запутали, а себя-то запутали так, в такую чащу зашли, что весь другой день выпутывались. Мху по колено, деревья поваленные.

Все ноги попороли о корчи, о сучья.

Помню, вскрикнула Катя, на мох смотрит. Гадюка черная блестит, вьется — уползает.

«Не поцеловала?» — Катю спрашиваю.

«Не знаю»,— отвечает.

«Смотри, а то дальше тебе и идти нечего. Такая насмерть целует».

Велел сесть ей, стал ноги ее смотреть: может, укус есть? Не разберешь: живого места нет: все содрано, кровоточит.

Пока я смотрел, заснула, гляжу. Лежит бочком на мху.

«Ладно, — думаю, — пусть поспит».

Ветку над ней надломил, чтоб тень ей была. Такая молоденькая, красивая, а на что себя тратит? На мучения. Ее на руках бы носить да радоваться, что она твоим рукам доверилась.

Застрашило меня, как гадюку вспомнил. Спит, не слышно, что и дышит.

Не заметил я, как от ее покоя и сам уснул возле нее.

Перед вечером это было, а проснулся, когда солнце пекло. Гляжу, Катя рядом в мочажине воду пьет. Льется вода из ее рук, такая сверкучая, а подошел — какой только твари нет в этой воде!..

«Как чувствуешь себя?» — спрашиваю Катю. Гадюка та меня беспокоила: не укусила ли?

«Хорошо»,— отвечает.

Точно хорошо, даже повеселела девка.

Приложился я к этой мочажине, попил досыта и нарочно этак со вкусом облизнулся.

«Штук семь лягушек,— говорю,— проглотил».

Как она засмеется! А я дальше свое.

«Теперь,— говорю,— мне и питания не надо. Будут в животе плодиться, успевай только переваривай. Свеженькие!»

Перестала смеяться, посмотрела на меня так задумчиво и говорит:

«Спасибо вам за удачу, что ушли».

«Тебе,— говорю,— за тот сердечный твой хлеб спасибо».

Голову она опустила.

«Мы ушли, а они там, в лагере, что с ними будет? Скажите, — говорит, — разве для таких вот мучений человек рожден? Ведь все хотят радости, а выходит так, что люди мучают друг друга, убивают. Почему? Уж не за эти ли радости?»

Неглупая девка, а вижу, смута у нее в голове. Рассуждения, от которых толку чуть. «Нам где-нибудь своих бы найти,— думаю,— это дело было бы».

Еще день по лесу проплутали. Последние свои силенки истребили. Вот она и воля, скажи. Без куска хлеба и на воле пропадешь.

В болото какое-то залезли, унылое болото. Дерево обгорелое торчит, а под ним ястреб кружит, и вроде бы видит нас человек, и человек этот будто бы на той стороне в лесочке елки раздвинул и глядит на нас.

Блазниться, значит, мне стало.

Пролезли через это болото, вдруг слышим, петух кукарекнул. Знать, рядом деревня. Обрадовался я. Пошел разведать, что за деревня в этом лесу. Была бы удача. Некуда уж без удачи.

Катя возле болота в камышах осталась.

Поискал деревню — нет никакой деревни.

«Еще, — думаю, — чуть пройду да и назад».

Опасался — на чужих бы не наскочить. Примет, следов никаких, а как-то чуешь человека в лесу. Чуял я: кто-то есть. Только хотел назад идти, повернул, ко мне и выходят двое с оружием.

«Руки вверх!» — командуют.

Кто такие? Схватил я корч. Дал мне кто-то сзади по шее так, что просветлел я уже в другом месте — перед шалашом.

Большой шалаш был и стол там врыт. На столе каравай хлеба и чугунок с картошкой. Что за люди?

Перед шалашом человек на пеньке сидит, рука на перевязи, пальцы, видать, распухшие. Глаза черные, с блеском, злые.

«Кто такой?» — спрашивает он меня.

«А какая ты такая власть, чтоб меня спрашивать?» — говорю.

«Власть тут советская»,— отвечает.

Упал я на траву, заплакал от радости и слова-то сказать не могу. Поняли меня, раз наша власть. Хлеба принесли, сахару кусок. Отложил это все, не до этого.

«Братцы,— говорю,— не один я, девушка со мной, из проклятого плена с ней идем».

Прошли на то место, где я Катю оставил, а ее нет. Только камыши по ее следу разняты. Спугнулась, видать, ушла. Так жалел, так жалел! Разве не досадно: ведь рядом со своими была — и ушла! Куда? Кругом лес, до ближайшей деревни пятнадцать верст, да и там немцы. Пропадет девка.

Так я тогда в отряде оказался и партизанил до сорок третьего года, и в сорок третьем первая весточка про меня до дома пришла.

Сам только через три года домой заявился. Вот так, браток, меня ждать было, считай, шесть лет, а на войне, как на тонком ледку: того и гляди обломишься... Жди!

Мильгунов сложил кисет, сжал его в кулак, задумался; сурово смотрел он в землю.

— А что ж с Катей было? — спросил я.

— С Милановой? Что с ней случилось, даже не верится, что с ней потом случилось: в немецкой комендатуре служила.

XII

Я в Озерах, в доме Мизгунчиковой, у которой, как сказал мне Мильгунов, когда-то квартировала Катя Миланова — Комендантша, так звали ее тут, в этом поселке с пыльной, немощеной улицей, с плетнями перед избами, крытыми где железом и шифером, а где и соломой в мшистой прозелени.

Беспредельна фантазия человеческая! Чего только иной раз не представишь себе! Даже чужую жизнь в самые ее откровенные минуты... Увидишь все, как наяву, да еще ярче, красивее, потому что сам хочешь, чтоб так было, хоть на самом-то деле и угрюм бывает

человек и беспомощен, озабоченно спешит он к своему счастью, не зная порой, что оно давно с ним, его счастье.

Вот и представил я, что после боя в Дебреве Катя попала в плен, ее привели в лагерь, откуда она бежала с Мильгуновым и, оставшись потом одна, скрывалась в лесу, пока снова не схватили ее. Назвалась она из осторожности Милановой.

Катя хорошо говорила по-немецки, и могло случиться, что немцы предложили ей быть переводчицей. Она согласилась, конечно, чтоб при первой возможности уйти к своим.

Так думал я, когда ехал в Озеры к Мизгунчиковой. Не мог я смириться, что Кати нет.

Дом Мизгунчиковой у самой площади, большой, с прирубом, где в углу горит лампадка, озаряющая потемневшие лики угодников в золоченых, будто огненных ризах; ладанной смолкой тут пахнет, усохшими травами: пучки трав висят на стенах.

День еще не погас, а в избе сумрачно, хочется спать, тело словно вянет в этом дурманящем тлении.

Мизгунчикова встретила меня ласковым словом и, узнав, млея от любопытства, что я о Милановой справляюсь, закрыла дверь на задвижку и окошки занавесила.

— Милочек, сынок ты мой ясненький, ой, голубь, жила, жила тутотко, в этих стенах, безбожная, что и рок ей вышел! Все он, господь бог, видит, да долго терпит. Не избегнешь за грех свой. Послушай меня, старую, каленую. Не гневись, что не по-вашему говорю. Отступились от божеского, по своей все правде хотят жить, зато и ссоры и брань — галда на белом свете. Куда человеку от страшного суда деться! Да, знать, заслужил... А про Катьку что, или слух какой прошел? — шепотом спросила она, и куда-то мимо меня скользнул взгляд круглых, с желтизной глаз на ее сером, обрякшем лице.

Выждав, она перекрестилась торопливо.

— Молчу, молчу. Ай, янтарь ты мой, душа ясная, уж как было все, доподлинно расскажу! Люди на меня и навет всякий пущают: перед супостатом, мол, угодничала, зато и не теснили меня. Не теснили меня, что Катька тут жила. Служила она в их комендатуре.

Сперва у меня офицер один квартировал, а уж после него она эту половину снимала. Тихая такая была, иной раз словно и нет ее в избе. Сама и за водой бегала и дрова со мной пилила. А по несчастью захворала я — всю поясницу разломило, — она и печь затопляла, а не из деревенских была. Лекарство какое-то достала — вовнутрь и для растирания.

Привыкла я к ней. Признаться, и страшно без нее было, когда с комендантом она по делам уезжала. Два раза стучал кто-то, и один раз Катьку спрашивали русские, а уж наши или из полицаев какие — не знаю.

Комендант этот к ней расположение имел, сох по ее красоте. Завлекательная была девка. Россиянкой он ее называл. Не русская, значит, а россиянка. Сам молодой еще был, высокий, лицо бледное-бледное, бельмы даже какие-то без цвету — водянистые, и волос жидкий, на пробор наглажен. Всегдато выбрит, все чистое на нем. Трубку курил, пахло от него табаком с ароматцем заморским, что и теперь — сунусь в сундук — зазвенит в ушах: сдается мне тот ароматец заморский, или на самом деле не выветрился еще тот воздух, по щелкам таится. Золото копил, собирал, даже в нижнее белье драгоценности прятал. Дал мне денщик рубашки его стирать. Одну выстирала. Выжимаю, да что-то под палец попало, зашитое в кармане. Пощупала, на зуб нитку взяла, перекусила и вынаю... Что, янтарь ты мой, думаешь, я вынаю?.. Серьги чистого брильянта в руках моих так и горят. Бог ты мой, голову он мне отвергнет!

Катька дома была. Я к ней. Взяла она эти серьги и говорит:

«Зашей их... Случится, Матрена Ивановна, отдаст все свое золото за глоток воды».

Что правда, то правда.

«Или за сухарь какой, за час жизни все и отдаст».

Чего за жизнь не отдашь!

«И рад будет, что часок какой дали пожить, — говорит, — подышать, насладиться вольным воздухом, которым вот дышим и не замечаем, что дышим».

Во как отповедала! За дверь я глянула: не слышал ли кто?

«Ты,— говорю ей,— при ком другом так не скажи. Люди всякие есть. Теперь человека не узнаешь. Скажешь, а он донесет, приврет для похвалы, что и не говорила. Тебе петля, а ему чай с сахаром».

Сказала я спроста, а, знать, истинная правда, что человека-то не узнаешь. Так и вышло с ней... Партизана она своей рукой убила, проклятая!

Вывели их троих — к петле были приговорены. Они вдруг да бежать рассчитали: лучше пуля, чем в петлю лезть. Стрельба поднялась. Катька выскочила с оружием. Двое через плетень махнули — ушли. Так посчастливило: из-под петли да на волю! А третий свалился от ее пули.

Жив еще был. Подбегла она к нему. Он ноги ей стал целовать, чтобы не убивала. А она ему в голову выстрелила. Пришла она вечером как все равно пьяная, на постель повалилась, под накидку полезла.

«Что,— говорит,— так зябко мне?»

Глядеть я на нее не могла.

Заглумила ее мутная совесть. Вскочит ночью и стоит, стоит, слушает чего-то. А то на крыльцо выйдет, с тоски на луну глядит, как волчица...

В избе что-то скрипнуло. Мизгунчикова перекрестилась, и снова раздался скрип.

— По слухам, — совсем шепотом заговорила она,— ребеночек у нее был — девочка, и будто девочка эта от коменданта... Чуешь? Сама-то скрылась, а он ждал ее до последнего дня, как власти ихней кончиться.

Погнали их. Зашел он сюда, карточку ее со стены взял, за шинель себе на грудь спрятал. Только идти собрался, а тут снаряд на дорогу упал. Затрещала моя изба, стекла посыпались. Он бежать — и как об притолоку саданется!.. Выскочил на улицу, в одной руке фуражка, в другой — платок, к голове его прикладывает. Спешит к машине и прихрамывает: видно, в ногу ему от того удара отдало.

А куда Катька скрылась, никто не знает. Как в прорубь оборвалась.

XIII

После разговора с Мизгунчиковой мне стало ясно, что Миланова — это какая-то другая Катя... Другая, да ведь и она тоже жила среди нас, в школе училась, буковки выводила, руку друзьям подавала. И вот этой же рукой убила партизана. А почему он ноги-то ей целовал, о пощаде просил? Это было странно. Уж не выдумка ли тут какая?

Но что я так встревожен, я даже чего-то боюсь! Нет, я не смею так думать о ней! Все кончилось там, в Дебреве. Я ношу ее прах с собой.

Было уже поздно, когда я пришел в дом для приезжих — обыкновенную избу, в которой было с десяток коек. Я выпил с сахаром теплого кипятку из железной кружки и вышел на крыльцо. Было темно, в небе льдисто искрились звезды, а вдали, в черноте, зияла огненно-красная полоса: там горел лес. Вышла дежурная, тетя Даша.

— Ай, звезд наросило!.. А там все горит.

— Это где же? — спросил я.

— А в Мархоткине.

Она села рядом на крыльцо.

— Да вроде бы против прежнего менеет зарево. Лес жалко. Какой лес! Там самые партизаны были в войну. Немцы туда и не лезли. А раз настырились, пошли. На другой день возвращаются чуть живые. Не сладили, так на ком зло выместить? На бабах. Вы, мужики, воевали, у вас оружие было, а мы что — с голыми руками, да и руки детишками спутаны.

А в тот раз, как они вернулись, немцы, ночью слышу стук. Муж у меня в партизанах был. Стучат — обомлела я, охолодела вся. Уведут в комендатуру, в подвал. Подолом не закроешься от них. Господи! Подхожу к двери. «Кто?» — спрашиваю. И слышу шепот: «Уходите, тетя». Открываю дверь — нет никого. Да уж не блазн ли какой? Я было к соседям. Герасевы соседи у меня были. Захожу. Их тоже через дверь предупредили. Скрылись мы. А утром запылали наши избы, девять изб, да только там уж никого не было. Кто предупредил, не знаем. Мы ушли, а за нас, может, тот человек казнь принял, и не знаем, кого попамятовать.

Тетя Даша ушла принять приезжего, а я долго еще сидел на крыльце. Зарево вдали меркло, казалось отсюда: горит там фитиль с красневшимся, как сквозь закопченное стекло, огнем.

— А шепот тот, милок, как сейчас, слышу, — вернувшись, продолжала тетя Даша, — такой без страха шепот, и словно бы это девичий шепот был.

— Кто ж это мог быть? — спросил я.

— Бесследна она, никто ее никогда и в глаза не видел, а говорят, да, знать, придумка какая-то, будто бы фамилия ее Максимова.

— Катя! — И я почувствовал, как в глазах моих горячо засверкал красный свет зарева.

Тетя Даша посмотрела на меня и поднялась.

— Милый, да никак знаешь что?!

XIV

Я ничего не ответил тогда тете Даше и не знал, что ей ответить: я еще должен был найти этот ответ.

Одну мысль подсказало мне сердце, и я поехал в Желанье. Там я взял у Евдокии Ивановны карточку Кати. Обратный путь — сорок верст на машине и десять пешком, и вот я у переправы. Переехал на ту сторону сам на лодке. Моросил дождик. Мильгунов был в сторожке, сидел перед раскрытой дверью, напильником натачивал зубцы — крючки для жерлиц.

— А я думал, ты в Москве давно. Садись! У нас тут живо закукуешь. Это еще дороги не развезло, а развезет, хоть прописывайся среди квашни. Машины идут по скольку тонн — земля-матушка ползет.

Я достал карточку Кати, посмотрел на нее. Она глядела куда-то вдаль с улыбкой на милом, юном лице. Нижние веки ее были затенены ресницами; эти тени и плавный взмах длинных бровей как бы окрыляли пленяющую красоту ее глаз. Я протянул карточку Мильгунову. Тут, может, и была решающая минута. Он отложил зубцы, напильник и взял карточку. Я видел, как вздрогнула его рука.

— Ты где подобрал этот облик? — спросил он.

— Я любил эту девушку, я ищу ее.

— Миланову?

Я опустил голову. Кого я нашел!.. К ногам моим упала карточка. Потом в сторожке потемнело на миг: это хозяин встал и вышел.

Тяжело было поднимать с земли эту карточку. Я обещал вернуть ее Евдокии Ивановне. Что я там скажу? Не буду я им ничего говорить: зачем огорчать их? А ведь какая была минута там, на крыльце в Озерах, когда в случайном слове тети Даши сверкнуло имя — Максимова!.. Не Катя ли это моя? И вот явью стали прежние, горькие мои догадки: моя Катя — Миланова, Комендантша по-здешнему. Что теперь делать? Все и решилось. Из прошлого не вырвешь проклятые дни.

Я достал с груди платок. В нем горсть земли, которую взял я из-под камня в Дебреве. Думал, что землю с прахом ее ношу. Я вышел из сторожки, разорвал платок с землей. Земля посыпалась на сапоги, на зеленую, мокрую после дождя траву. Мильгунов сидел рядом на камне.

— Прощай, — сказал я ему.

Я пошел вниз, к переправе, где была лодка.

— Постой! — крикнул Мильгунов. Он нагнал меня. — Закурим на дорожку.

Мы сели возле лодки на бревно, лежавшее среди песка, и закурили.

— Да, рассказывал я тебе про наш побег с ней и не знал, что ты любил ее... Учились, что ли, вместе?

— Да.

— И так вот все помнил, искать приехал ее? Ждать горько тебе было, конечно. Лучше б ждать или так помнить, чем такой конец. История, брат.

— Не верится как-то, Мильгунов. Прости, что так зову.

— Что ж ты чертом, что ли, меня назвал — прощать!

— Не могла она стать такой.

— И я лепешку ту не забыл, помню. Но правду не выколешь. Она нашего человека, партизана убила — Будакова Василия. Сперва

ранила, а потом еще добавила. При людях было, люди видели.

— Партизан, а что ж он ей ноги целовал, о пощаде просил?

— Бабы наговорят, слушай! Ноги целовал! Грыз он ей ноги и перегрыз бы в такой горячке. Что ему оставалось, когда он уж с колен встать не мог!

Мильгунов бросил окурок и каблуком с хрустом вдавил его в песок.

— А что слышно о ней? — спросил я.

— Кто ее знает!

— Дочка, говорят, у нее была?

— Не слышал. Вот тут человек один есть. Он при немцах в Озерах служил. Спроси, может, что и скажет. Это тут, недалече. А пока давай ко мне, чаю попьем, вместе и направимся, коли охота есть. У меня к нему тоже дело.

XV

— Этот старшой у меня, Алексей, — сказал Мильгунов, когда вошли мы в его избу, где на полу у разостланного брезента с разложенными на нем какими-то гайками и винтами сидел парень.

— Двое у меня. Один все ломает, а другой ремонтирует, — пояснил Мильгунов. — На этот раз, вижу, до швейной машинки дело дошло.

Алексей рукой, в которой сжимал отвертку, осторожно отбросил со лба волосы и взглянул на меня ярко-зелеными, как у отца, глазами. Показалось, где-то я видел его, — и вспомнил: в автобусе. Тот самый парень, который так честно рассказал про мучавшую его совесть. Вот где встретились! И он узнал меня, быстро поднялся, смутился, поставил табуретку передо мной.

Мильгунов вышел в сенцы щепать лучину для самовара; было слышно, как, отщепляясь, трещало сухое дерево.

— Как доехали тогда? — спросил меня Алексей.— А я раньше вышел — у базы. На попутной оттуда к нам быстрей... Помните, рассказывал я? Вы уж отцу не говорите, — добавил он шепотом. — Переживать будет.

Я видел, как тяжело ему было просить об этом, и сжал его руку.

— Я рад, что встретил тебя, Алеша.

Он улыбнулся, глаза его влажно заблестели, но тотчас какая-то мысль спугнула улыбку.

— Про себя я тогда рассказал, про свою совесть. А каково ему, Павлу Ивановичу! Не про обиду говорю, нет. А радость его за его добро, какое он сделал, тем случаем-то убил.

Вошел Мильгунов с лучиной, с самоваром, с трубою, которую он держал за дужку мизинцем.

— Дела эти свои, Алексей, бросай и на переправу — командовать.

— Я надолго не могу: вечером у меня ездка в район.

— Вечером и поедешь. Мы с товарищем скоро. Там в чугунке у меня рыба — пообедаешь. Хлеба только возьми.

Алексей накинул на плечи ватник, сунул краюшку хлеба под локоть, свободной рукой снял ружье со стены — ватник его сполз и повис на одном плече.

Когда он вышел, я сказал:

— Хороший сын у тебя, Мильгунов.

— Теперь всякая возможность есть стать хорошим, за что и кровь боевую проливали.

Мильгунов разжег лучину в самоваре, углей насыпал и поставил трубу. Потом со вздохом опустился на колени и стал дуть снизу под жаровню.

— Баба у меня в поле, а этот паровоз только под ее руководством пары дает.

Он не заметил, как вошла женщина, разрумянившаяся, в белом, низко повязанном платке; у нее были серые большие веселые глаза.

— Так вот иной раз захочешь самоварец поставить, — продолжал Мильгунов, — на коленях наползаешься перед ним, что штаны потом не отстирываются. Баба, конечно, в ревность: перед какой такой, мол, вдовой молишься, что скоро голыми коленками будешь по всей деревне сверкать!

Женщина сняла платок с головы, повесила его у двери.

— И чего мелет! Ты, прежде чем самовар разводить, язык, что ль, к табуретке привязал бы, чтоб не мешался.

— А, Сергеевна, мое почтение! Затосковал прямо без тебя.

Это была хозяйка. Она поворошила лучину в самоваре, постучала ножом в поддувальце, дунула раз — и в самоваре вспыхнуло, загудело пламя.

— Не иначе как слово знает! — подмигнув мне, сказал Мильгунов.

— Товарищ, поди, заждался. Толку от тебя! Иди-ка лучше щепы принеси.

После чая и яичницы, которую нам живо сготовила хозяйка, Мильгунов набил кисет махоркой, дал мне свои новые брюки и пиджак, а мою одежду, сырую от дождя, повесил сушить у печи.

XVI

Мы пошли напрямик через лес. За дворами, где между гряд с цветущим, теплой сладостью пахнущим картофелем была протоpена стежка, нас встретила девушка. Она поздоровалась с нами, и взглянула на меня черными, как початки камыша, глазами, и, чтоб не помять ботву, скользнула рядом, задев меня.

— Видал какая...— сказал Мильгунов.— Бригадир. Звезда девка! Я тебя с ней, хочешь, познакомлю, и Миланову свою забудешь. Кто она теперь тебе? Чужая. Зря вот только ждал ты ее. Вон и голова у тебя с инейком, а молодой. Девчата таких любят.

Вошли в заросли молодого березняка с мокрыми после дождя листьями. Повсюду зажигались капли: и на листьях и в траве с синевшими колокольчиками, с пурпуровыми цветами болотной герани; было влажно, тепло, от пригретых стволов вился парок, и в воздухе горьковато пахло березовой корой.

— Этот человек, к которому идем, Чигирев, — полицай бывший, — заговорил Мильгунов. — Потом он, правда, в партизаны ушел. Никто в том отряде не знал, кем он был. Так и воевал. А наши когда пришли, признался, что когда-то немцам служил. Что ж, срок дали. А на днях из заключения пожаловал. Жена брата его приютила. Живет пока у нее. Что я к нему иду?

Мильгунов обошел по скошенной траве мочажину, заросшую по краям камышом с черными, словно бы обуглившимися початками, и, выйдя опять на тропку, продолжал:

— Мне, браток, одна история покоя не дает, потому и иду к нему.

Дело-то такое, было в войну еще. Сидел я в секрете с одним товарищем. Весна была, черемухой пахнет, такой воздух, хоть пей, соловьи поют, друг перед дружкой соперничают. Благодать, кабы не война, а что война, то от всей этой благодати сердце горем обливается.

Темно было, нас в сон клонит. Вдруг видим, со стороны Озер красная ракета поднялась, вторая, за ней третья. Какой-то сигнал, не иначе, думаю.

Доложили об этом в отряд. Тут же и снялись мы. А через час на это место каратели нагрянули налетом со всех сторон. Пошастали они по пустому лесу, назад идут, а мы их у моста и ждем. Тут и гостинцы поставили. Была встречка! После той встречки они на лес только из Озер поглядывали.

Кто-то предупредил нас, дал сигнал, те три красные ракеты. Не будь того сигнала, полегли бы мы, конечно, росла бы из наших костей малина-ягода.

Кто тот человек, который предупредил нас? Командир нашего отряда Жигунов, конечно, знал, кто он. Но в то время не все говорилось. Жигунов и комиссар отряда Батраков погибли. Сейчас, как вспомню, что таких людей нет, ненастит у меня на сердце.

Так и осталась вся эта история загадкой. А ведь человек то был, не сами же ракеты поднялись. И, говорят, браток, слух такой прошел, будто сигнал девка подала, фамилия ее Максимова, а кто такая — и не знает никто.

Опять из той давности донеслось до меня это имя. Я уж и не знал, что думать.

— Вот и иду к Чигиреву, — продолжал Мильгунов, — может, что слышал, когда в Озерах прихлебайничал. Это уж, будь уверен, какой они за тот сигнал розыск вели.

XVII

Чигирев жил в Дракине, на хуторе среди леса, где было так тихо, что мы слышали, как за плетнями в ульях гудели пчелы.

Одиноко перед проулком, затравевшим глухой крапивой, стоял мужчина в накинутом на плечи ватнике, в галошах на босу ногу. Это и был Чигирев.

Мы подошли к нему. Мильгунов посмотрел прямо ему в глаза, но тот не встретил его взгляда, глянул задумчиво на дорогу мутными от тоски глазами.



— Мы к тебе,— сказал Мильгунов.

— Пожалуйста. Милости просим,— проговорил он и пошел впереди нас, опустив голову и выставив остро локти под ватником.

В избе, где было душно и пахло кислым тестом, он убрал со стола кружку, в которой зло зудели мухи, пригласил нас сесть.

— Кваску не угодно ли?

Он поставил перед нами горлач с квасом.

— Не хочу,— сказал Мильгунов.

Чигирев тяжело, как будто болело что у него, опустился на порог.

— Ладно! О чем толковать будем? — произнес он.

— Вот товарищ про Миланову что-то хочет спросить.

Чигирев быстро скрутил цигарку и, закурив, жадно затянулся, раздувая ноздри.

— А словом с моего языка не брезгуете? Квасок-то, он в горлачѐ, к нему от моих рук не пристанет, да и что было на них, смыл я своей кровью.

— Слышали,— сказал Мильгунов.

Чигирев трясущимися пальцами поднес огонь к погасшей цигарке, и я увидел, как побледнело его лицо.

— Не все слышали. И я не без правды. Плохо мне было. Безумничали надо мной на каменном полу. Что ж, подыхать? Нет, я подыхать так не хотел. Согласился служить им, чтоб за это безумство потом лютую ненависть исполнить над ними. Да вот беда, Мильгунов, справки нет у меня на эту мою мысль, что она такая была у меня, мысль.

Вот и Миланова безвестно пропала, потому что без справки-то она проклятая сволочь. А кто ей даст справку, что она не партизана убила, а что предателя она убила? Он, Будаков, отряд-то ваш выдал.

Огненно-жгучая дрожь скользнула по моему телу. Мильгунов медленно отодвинул горлач, мешавший видеть Чигирева.

— Побег-то был устроен,— продолжал Чигирев.— Задумали Будакова на волю пустить, чтоб и дальше он выдавал. А Миланова и подсекла его. Те двое ушли, поди, и сейчас живы, а Будакова зарыли. Кисло, очень кисло комендант поздравлял Миланову с удачным выстрелом. Она будто ничего и не знала, выслужиться будто хотела... А потом, уж после, случайное открытие произошло. Начальник гестапо Гринау очень Жигуновым интересовался. Сведения такие были про Жигунова: командовал он в бою за деревню Дебрево. Дотошно

про этот бой все разузнал. Установил, что тогда был взят в плен один человек — девушка. Отправлена она была в лагерь «Казенный лес». Бежала оттуда. А начальник гестапо словца-то, какие из леса доходили, мимо уха не пропускал. Вот и дошло словцо, что Миланова в лагере была. Послал он в тот лагерь ее карточку. Ответ и пришел: действительно, такая у них в лагере находилась — бежала. Фамилия ее — Максимова!

Мильгунов торопливо скрутил цигарку и, не сводя глаз с Чигирева, бросил мне кисет.

На окнах вдруг заискрились брызги: шел дождь светящейся под солнцем полосой. Вот в такую минуту узнал я про тебя, Катя! Что ж дальше-то было с тобой? Я боялся, что не услышу, что скажет Чигирев: так зашумел дождь.

— Неуловимая Максимова,— говорил Чигирев.— Они искали ее, чуть землю не рыли, чтоб найти, а она, оказывается, рядом с ними была.

Стали за ней наблюдать: с кем связь имеет. Глаз с нее не сводили. В западне была, и крышка-то захлопнулась. Некуда ей деться.

Велено было убрать ее. Поздно вечером, когда из комендатуры она шла, схватили ее — я и двое гестаповцев было. В лес заволокли. Тут должны были ее убить, а потом сказать, что партизаны, мол, убили — и концы в воду, так потише, чтоб неприятностей не было из-за нее.

Возле ручья достал я пистолет и двоих гестаповцев застрелил к черту! А ей руки развязал.

«Уходи!» — говорю.

«Нет,— говорит,— у меня девочка там».

И назад пошла. Какая девка была!.. Нагнал я ее.

«Я,— говорю,— пойду. У кого девочка?»

Ждала она в условленном месте. Я пошел и принес ей девочку. Расстались. Она своей дорогой пошла, а я своей.

XVIII

Все, что было рассказано до этих слов, я написал в избе Мильгунова ночью, потрясенный тем, что я узнал.

Осталось добавить мне немногое.

Когда мы вышли от Чигирева, Мильгунов повторил его слова: «Она пошла своей дорогой, а я своей» — и после раздумья добавил:

— Ее дорога к своим, у своих и спрашивать про нее будем.

Потом он попросил у меня карточку Кати. Снял фуражку и, остановившись, долго смотрел на карточку.

— Вот ты какая... Максимова!

Целую неделю ходили мы и ездили с Мильгуновым по лесным сторожкам, по деревням, где после Озер могла быть Катя, и вот, усталые, сели на скамейку у станции.

— Если еще к Шелехову зайти... Далеко, брат, да и нет его: к дочери в Смоленск уехал. Вернется неизвестно когда.

У меня кончался отпуск, пора было на работу. Не мог я уезжать, не узнав все до конца.

— Видать, никуда не дошла. А должна была бы дойти, такая отчаянная. Но всякое случается.

Мильгунов обещал написать мне, если что узнает про Катю. Так и решили.

На прощание обнялись мы с Мильгуновым. Кулаком он дотронулся до заблестевших глаз.

— Не поминай лихом! Адрес мой знаешь? Переправа!

С этой станции я и уехал в Москву.

После лесов и лугов с копнами сена под синим небом комната мне показалась сумрачной и тесной. Я даже удивился, что живу здесь, среди этих каменных стен. Живу ли? Я здесь только сплю: с утра до вечера я на заводе.

После работы я спешил домой, сразу заглядывал в почтовый ящик: нет ли письма? Потом шел на кухню: сюда соседи обычно клали газеты, которые я выписывал. Тут могло быть и письмо. Но писем не было.

Я уже сам собирался написать Мильгунову, как вдруг... Открыл ящик, и оттуда под ноги мне упало письмо в белом конверте.

Я закрылся в комнате. Не знаю почему, но я два раза с хрустом повернул ключ в замке. Со страхом я распечатал конверт.

«Дорогой мой...» — прочитал я.

Мне ли это письмо? Да, на конверте моя фамилия...

В какую-то минуту с быстротой прочитал я письмо и не поверил в то, что было там написано.

«Дорогой мой,— снова, спеша, начал читать я.— Сегодня вдруг узнала, что ты искал меня. Прости, я не думала, что верный ты тем словам останешься даже и без меня. Помнишь, как ты сказал в Нескучном: «Катенька, я люблю вас».

Так это неожиданно было, радостно, как от тех ранних цветов подснежников, которые достал ты мне с обрыва.

Я думала тогда, что это не так бывает, что любовь — это что-то другое. А вот сколько лет прошло — слова твои не погасли, они еще ярче горят для меня в эту ночь.

Как рада я, на всю жизнь рада за твою верность!

Тебе многое известно про меня. Лишь скажу, что после Озер я пришла в деревню Тайково, к Шелехову. У него я могла укрыться, и укрылась. И вот однажды узнала, что не стало командира отряда и комиссара: они погибли. Они одни знали правду про меня... Но главное не в этой правде, а в том, что все сделали для нашего общего дела...

После войны я уехала из Тайкова, училась, а теперь работаю врачом в Загорье, далеко от тех мест, где ты был недавно.

Шелехов знал мой адрес, и сегодня я получила от него письмо. Он рассказал про тебя. Прости, я думала, что ты давно забыл меня!

Живу я с дочкой. Тоня ее зовут. Я нашла ее в лесу возле убитой матери еще в сорок первом году. Теперь ей уж почти столько лет, сколько было мне тогда, когда я стала ее новой матерью.

Сейчас она спит, а я запечатаю письмо, и выйду на крыльцо, и буду смотреть в ту сторону, где Москва, где ты...»

...Не забуду я никогда день нашей встречи, наш красный день.

Было раннее утро, моросил дождь, когда я спрыгнул с поезда на станции вблизи Загорья, где жила Катя.

Возле путей, накрывшись от дождя плащом, стояли двое: девушка в капюшоне и молодая женщина с ворохом ярко-красных рябин. Пламень их освещал ее лицо с плавным взмахом бровей, которые как бы окрыляли красоту ее радостно сверкавших слезами глаз.

— Катя... Катенька!..



ЛЮДИ МОЕГО СЕВЕРА

Павел КУСТОВ



Тепло

Я побывал в краю, где не был,
Наверное, с десяток лет.
Все то же сумрачное небо,
Все тот же ржаво-блеклый цвет

На всем: на перелесках голых,
На сенокосах и полях,
На старых, с виду невеселых
Уездных бывших городках.

О, как поверхностно мы судим
О них с дистанции большой!
Я присмотрелся к здешним людям
И потянулся к ним душой.

От них тепла немало в сердце
Ты увезешь к себе домой:
От устюжан и белозерцев,
Из дальней Вытегры самой.

Всегда их круг застольный тесен,
В беде надежна их рука.
Как мало все ж поэм и песен
О них написано пока!

Родники

От известных центров в отдаленье,
У истоков северной реки,
Есть одно старинное селенье
С красочным названьем «Родники».

А за тем селеньем есть пригорок,
На котором родники найдешь.
Сколько их всего там: двадцать, сорок?
Может, еще больше? Не сочтешь!

Хорошо у каменистой груды
Пропустить живой воды глоток
И надолго унести отсюда
Родника бодрящий холодок!

Знать, недаром столько певчей птицы
На ключи слетается с утра:
Голос чище от такой водицы,
Будто станет он из серебра.

И когда хористы в клубном зале
Целый вечер петь не устают,
Я шепчу соседям: — Вы не знали?
Да ведь это ж родники поют!



Разговор по телефону

Ол. КОВИНЬКА

Рисунок А. КАНЕВСКОГО.

Весна... Зеленеют колхозные нивы. Растет озимь. Буйным цветом цветет.

Что ни говорите, а она, весна, все-таки пришла. Теплая, тихая колхозная весна.

Солнышко ласкает, нежит, и прозрачным, светлым утром встречает, и все приглашает: «Пашите землю! Пашите!.. Разрыхляйте, сейте! Сейте!.. Каждый час дорог!»

А по телефону:

— Сеем! Ей-богу, сеем!

— Сколько на данный период засеяли?

— Федор Федорович! Тебе конкретно? Тебе на данный период? Тебе как лучше передать: отдельно колосовые, а отдельно пропашные или суммарно? А? Поконкретнее, говоришь? Хорошо! Сейчас!

Из кармана вытаскивается длинная сводка, и начинаются поиски конкретных цифр.

Одной рукой сводку держит, другой рукой телефонную трубку прикрывает:

— Килына Петровна! Что это за чертик в середине графы прыгает?

— Где?

— Где, где! В очках, и не видите! Вот туточки!

— А!.. Так это же не чертик! То жучок... Божья коровка... Влетела в окно и в чернильницу — плюх! Что поделаешь, весна!

— Чтоб она скисла! Всю вспашку перемазала! Алльо! Федор Федорович! Алльо! Ты слушаешь?.. Уточняем...

— Уточняй, я подожду.

Пауза. Тихо. Шелестят развернутые бумажки.

— Федор Федорович! Ждешь?

— Жду.

— Жди. Как там твоя половина поживает?

— Спасибо! Прыгает!.. А я звоню, пока грязно. Подсохнет — сам приеду.

— Конечно, еще грязновато. Мы сеем там, где подсыхает.

— Правильно. Как у вас тягловая сила, что-нибудь тянет?

— Тянет!.. Вот эти два дня кур вывозила в степь.

— Хорошо. А как у тебя с птицей, с яйцами? Повышаются?

— Алльо! Против первой декады процентов на двенадцать повысились.

— Неплохо. Сколько у тебя несушек?

— Подходященько. Мы птицеферму расширили. У нас теперь четыре птичника.

— Четыре? Запишу. Василь! Слушай, я тебя по-товарищески предупреждаю: птица сейчас в центре внимания. Вспашку, посев давай, но и о свежем яйце не забывай. Я, как прикрепленный, говорю тебе прямо: ты у меня не заснешь! Я тебя будить буду и за вспашку и за сев. Ты с этим делом не шути.

— Федор Федорович! Мы не шутим. Мы вчера серьезное решение приняли: развернуться по всему фронту.

— Хвалю! Развертывайтесь! Мы решили подкинуть вам кадров. Механизаторов... Прибывает к вам народ?

— А? Килына Петровна! Выгоните вон своего гусака. Как разговаривать, так он, проклятый, гелгел... Чтоб он сдох! Федор Федорович! Повтори...

— Я спрашиваю: прибавляется ли в колхозе народ?

— Прибавляется!.. Килына Петровна! У кого у нас прибавилось?

— У кладовщика вчера дочка родилась, а у Оксанки, у звеньевой, на рассвете мальчик родился.

— Федор Федорович! Пополняются кадры... Кадры каждый день прибывают...

— Вы им условия создали?

— А как же! Пускай расцветают!..

— А кто, дивчата или хлопцы? К вам должны прибывать и хлопцы и дивчата...

— Федор Федорович! Ты угадал... Прибывают, как по графику. Есть женский пол, есть мужской...

— Вы их не обижайте! Окружайте вниманием... Они как, хорошо одеты? В чем они обмундированы?

— Федор Федорович! Они прибывают необмундированные.

— Как это так?

— Очень просто. У кладовщика вот дивчина родилась, а у звеньевой — хлопчик.

— Тьфу ты, да я не об этом!..

— Федор Федорович! Разве ты сам не понимаешь? Весна! Федор Федорович! Ты там не задерживайся, приезжай. Увидишь, как весной пашем, как сеем... Да и щук наловим.

— А щуки есть?

— Есть! Здоровенные! Вчера одна как махнула хвостом, повернешь, чуть лодку не перевернула. Вот какая чертовка!.. Мы к ней, а она — фью-и-ить! Сверкнула и была такова...

— А что-нибудь все же наловили?

— Наловили... Килына Петровна! Утром твой Василь щуку ловил — наловил?

— «Наловился»... Лежит у кладовщика под брезентом, сам как мокрая щука.

— Наловили, Федор Федорович!.. Лежит у кладовщика под брезентом... Вот такая щука!.. Не видно? Приедешь — увидишь...

— Подсохнет, беспременно приеду. Как у тебя с полевым станом для трактористов?

— Сейчас уточню. Килына Петровна! Вы в курсе дела? Грицько начал на клину строить?

— Заходил, сказывал, собирается ехать за досками в Полтаву.

— Федор Федорович! Ты у телефона? Федор Федорович! Ты меня слушаешь? Не слушает! Вот, Килына Петровна, сама слыхала, как люди интересуются посевной! Как они интересуются бытовым положением трактористов? Хотел доложить, что строим. А он трубку бросил.

И один председатель колхоза в одном районе вытер губы.

Должно быть, затем, чтобы не так зудели...

Перевел с украинского
Е. ВЕСЕНИН.



ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ

В гостях у Щепкина

Кто такой пасечник Рудый Панько, автор замечательных «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в конце концов стало известно москвичам—любителям литературы. Им хотелось повидать веселого пасечника, да вот беда: Рудый Панько жил в Питере, где и была издана его книга. Быть может, более, чем другим, с пасечником хотелось познакомиться русскому актеру М. С. Щепкину. Он хорошо знал и любил Украину.

В один из летних дней 1832 года у гостеприимного и хлебосольного Щепкина обедало человек двадцать пять. Стол был накрыт в зале, и дверь в переднюю была распахнута настежь. В середине обеда в переднюю вошел неизвестный молодой человек лет 22—23-х, в крахмальных воротничках, с хохолком на голове. Пока он, не торопясь, раздевался, обедавшие с недоумением поглядывали на него. Но вот он разделся и, остановившись на пороге в залу, окинул всех быстрым взглядом и, улыбаясь, проговорил слова известной украинской песни:

Ходит гарбуз по городу,
Пытается свого роду:
Ой, чи живы, чи здоровы
Вси родичи гарбузовы?

Это был сам Рудый Панько — Гоголь, и «родичи гарбузовы» приняли его с распростертыми объятиями.

В поисках критики

Гоголь не искал похвал, зато внимательно прислушивался ко всяким замечаниям по поводу своих произведений, даже к замечаниям заведомых хулителей. У него был знакомый сановник, весьма далекий от литературы; он уважал Гоголя как человека, но терпеть не мог его сочинений. Вот этому-то сановнику Гоголь, который вообще читал неохотно даже признанным ценителям, прочитал девять глав второго тома «Мертвых душ». Зачем вы это делаете? — удивлялся один из друзей писателя.— Он ничего не понимает в изящной литературе и поэзии!

«Что мне за польза,— отвечал Гоголь,— читать вам или кому другому, кто восхищается всем, что я ни написал? А Иван Васильевич (так звали сановника), слушая мое чтение, отыскивает только одни слабые места и критикует строго и беспощадно, а иногда и очень умно. Он иногда, разумеется, говорит вздор, но зато в другой раз сделает такое замечание, которым я могу воспользоваться».

О достоинстве своих сочинений Гоголь судил по впечатлению людей, не искушенных в литературе. «Если они рассмеются,— говорил он,— то, значит, уже действительно смешно, если будут тронуты, то, значит, уже действительно трогательно, потому что они с тем уселись слушать меня, чтобы ни за что не смеяться, чтобы ничем не трогаться, ничем не восхищаться».

Шляпа Гоголя

В Калуге, в торговых рядах, покупатель выбирал летнюю шляпу. Пересмотрев и перемерив немало разных шляп, он наконец взял по своему размеру и вкусу, надел ее, заплатил деньги и ушел, оставив старую шляпу на прилавке.

Потому ли, что покупателя сопровождал родственник видного в городе лица или почему другому, но в рядах уже знали, что это известный сочинитель Гоголь, приехавший в Калугу погостить. Когда он ушел, купцы и приказчики стали примерять шляпу. Она оказалась всем велика и одному съезжала на нос, другому падала прямо на плечи.

— Вот это голова! — удивились они.— Недаром он сочиняет умные книги!

А счастливый хозяин лавки, которому досталась необыкновенная шляпа, выставил ее всем на обозрение на верхней полке под стеклянным колпаком.



Под редакцией гроссмейстера
Сало ФЛОРА

Красивый этюд

Г. А. Надарейшвили (Тбилиси)

Талантливый грузинский шахматный композитор Г. А. Надарейшвили составил около 60 этюдов, 18 из которых занимали призовые места в разных конкурсах. Этюд, который мы печатаем, получил первый приз в конкурсе газеты «Ахалгазрада Коммунисти».

Вот его решение:

1. g6—g7 Лb6—b2+
2. Крe2—f1 Лb2—b1+
3. Кf2—d1! . . . .

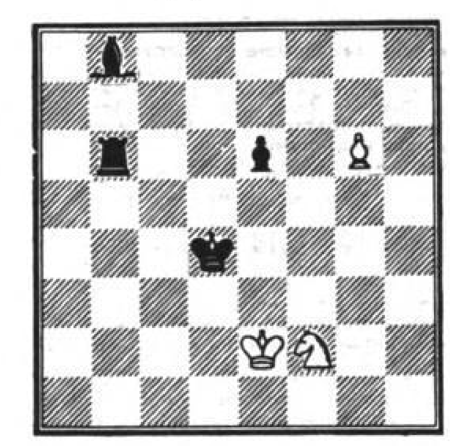
Проигрывает 3. Крg2 из-за 3... Сh2!

3... Лb1 : d1+
4. Крf1—g2! . . . .

Только так. Если 4. Крf2?, то черные выигрывают путем 4... Са7!

4... Лd1—d3
5. g7—g8Ф Лd3—g3+
6. Крg2—h1! Лg3 : g8

Белым пат!



Белые начинают и делают ничью.

Пари

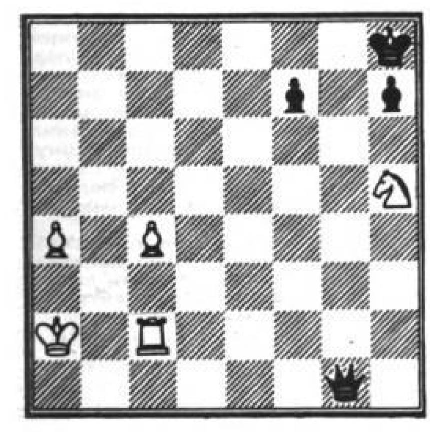
Во время войны в концлагере был замучен известный польский мастер и шахматный композитор Д. Пшепьюрка. Приводим один из его самых известных этюдов.

Об этом этюде существует хороший рассказ композитора Монгредиена; даем его в сокращенном виде.

Между постоянными посетителями одного клуба были два молодых человека, которых мы назовем условно Колей и Сашей. Оба они играли в шахматы очень страстно, любили поспорить по всякому поводу. Неоднократно они заключали пари о сложных позициях, задачах и этюдах.

Однажды вечером Коля явился в клуб и показал присутствующим позицию, изображаемую на нашей диаграмме.

— Саша последние два пари у меня выиграл,— сказал он,— но сегодня я его поймаю. Первый ход очевидный — 1. Лс2 — е2. Черные не могут играть 1. h6 из-за потери ферзя. Его лучший ответ 1... Фg1—g8.—.



Белые начинают и выигрывают.

— Это не поможет,— заметил один из присутствующих — сильный шахматист,— потому что после 2. Кh5—f6 выигрывается ферзь.

— Правильно! — заметил Коля с радостной улыбкой.— Вот именно этим я его и поймаю! Хотя 2. Кh5—f6 выигрывает ферзя, но партия заканчивается после этого вничью после 2. Фg8—g1. 3. Ле2—e8+ Крh8—g7 4. Ле8—g8+ Крg7—h6 5. Лg8 : g1, и черным пат!

— Здорово, это очень красиво! Но какое же тогда правильное решение этюда? — спросил сильный шахматист.

— После 2. Кh5—f6 у белых только ничья. Но выигрывает 2. Кh5—g7!! — с важным видом объяснил Коля.

Все с увлечением изучали позицию. В это время в клубе появился Саша.

— Ни одного слова,— просил Коля присутствующих.— Посмотрите, как его сейчас «куплю»...

— Добрый вечер! Что тут делается? — обратился к друзьям Саша.

Коля быстро поставил начальную позицию этюда и сказал:

— Вот позиция, которую я вообще должен был выиграть, но не заметил лучшего продолжения. Посмотри сам, что можно сделать белыми!

Саша сел за столик, посмотрел, подумал и заметил:

— Ничего особенного, я играю: 1. Ле2.

Коля нарочно призадумался и ответил:

— 1... Фg8.

Саша сделал ход 2. Кf6 и сказал:

— Этим ходом я выигрываю.

Коля вскочил.

— Ты уверен в этом?

— Абсолютно,— ответил Саша.

— Я предлагаю пари, что после этого хода ты не можешь выиграть!

— Я согласен заключить пари,— ответил Саша.

Коля был доволен, закурил папиросу и уже наслаждался выигрышем. Несколько минут он делал вид, что над чем-то серьезно думает, и сыграл 2... Фg1. Наступила тишина. Неожиданно Саша сыграл 3. Кf6—h5. Лицо у Коли вытянулось. Поскольку другого выхода не было, он быстро сыграл 3... Фg8 и неуверенным голосом комментировал:

— Если ты хочешь делать ничью повторением ходов, пожалуйста, я не возражаю.

— Ничего не поделаешь, я играю 4. Кh5—g7! — сказал Саша.

Коля сдался. Саша похлопал его по плечу.

А мораль этого рассказа еще такова: не рой другому яму: сам в нее попадешь!..

СТОЛЕТИЕ «ШАХМАТНОГО ЛИСТКА»

Столетний юбилей отмечает русская шахматная журналистика. В 1859-м начал выходить первый шахматный периодический орган в нашей стране — «Шахматный листок». Журнал этот свидетельствовал о больших успехах шахматной науки в России.

Но вскоре над «Шахматным листком» собрались тучи. Летом 1862 года царское правительство закрыло «Русское слово», в качестве приложения к которому выходил «Шахматный листок». Была сделана попытка выпускать журнал самостоятельно, но после недолгой отчаянной борьбы за существование он умер голодной смертью. На декабрьском номере за 1863 год издание «Шахматного листка» прекратилось.

Так же печально сложилась судьба всей русской шахматной прессы в дореволюционные годы. До 1917 года девять раз предпринимались попытки создания отечественного шахматного органа. Из них три были связаны с именем М. И. Чигорина. Но ни одному из этих журналов не удалось протянуть более пяти лет, а иные умерли уже через несколько месяцев. Почему?

«Причина эта,— с горечью писал М. Чигорин,— заключается в недостаточности средств и в таком малом количестве подписчиков, что подписная сумма не покрывает даже типографские расходы и расходы на бумагу... Я и другие шахматисты посвящали ему свой труд безвозмездно».

Сколько же подписчиков требовалось для поддержания журнала? Оказывается, всего 250, но набралось их на всю Россию менее половины этого количества...

Новая эпоха в развитии шахматной печати открылась в советское время.

Сейчас в нашей стране выходят два больших ежемесячных журнала: «Шахматы в СССР» и «Шахматный бюллетень». Есть своя двухнедельная газета — «Шахматная Москва». Первые шаги делает «Бюллетень Центрального шахматного клуба СССР».

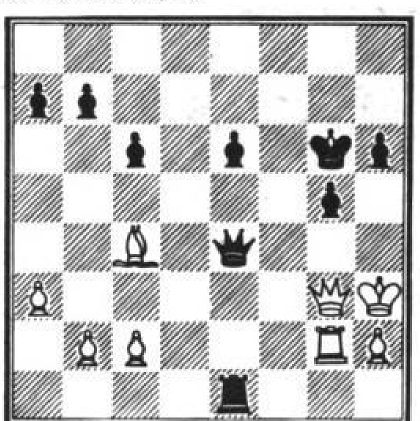
Советская шахматная печать завоевала широкое международное признание. Об этом говорит недавнее выступление на страницах журнала «Лондон иллюстрейтед ньюс» видного английского мастера Б. Вуда.

Он дает восторженную оценку серьезному характеру советских шахматных журналов, высокому качеству публикуемых в них материалов. Английский мастер подчеркивает, что этим в немалой степени объясняются секреты блистательных достижений гроссмейстеров и мастеров нашей страны на международной арене.

И. РОМАНОВ,
кандидат исторических наук

КОМУ ЖЕ СДАВАТЬСЯ?

В одной партии между двумя немецкими любителями возникла следующая позиция.



Ход черных.

Черные сыграли

1... Ле1—е3

Качая головой, шахматист, игравший черными, обратился к партнеру с призывом:

— Сдавайтесь!

— Как бы не так! Мне сдаваться? Смешно. Вы думаете, я не предвидел ваш ход Ле3? Все видел. Я предлагаю вам сдаться,— говорил бодрым голосом игравший белыми и «со стуком» сделал ход.

2. Сс4—d3.

Партнер задумался.

— Да, это, кажется, я «зевнул». Неужели мне действительно надо сдаваться?

— Конечно, что тут еще можно придумать!..

— Минуточку, минуточку, спокойно. Сдаваться никогда не поздно,— сказал первый и сделал изящный ход...

2... Крg6—h5

— Сдавайтесь все же вы, мой дорогой! — добавил он.

Партнер, игравший белыми, едва слышно произнес: «Что за странный ход?» — но тут же убедился, что ход вовсе не странный, а решающий. В случае 3. С : е4 следует g5—g4 мат.

Сдаваться пришлось белым. Еще раз оправдалась поговорка: хорошо смеется тот, кто смеется последним!

НЕ СОВСЕМ...

Заслуженный тренер СССР рижский мастер Александр Кобленц был вместе с чемпионом СССР М. Талем на межзональном турнире в Портороже. В один из выходных дней состоялась прогулка, и Кобленц, у которого хороший и приятный голос, исполнял арии на русском и итальянском языках. К тенору подошла дама и сказала:

— Я благодарю за удовольствие. Ваше пение мне напоминает большого художника!

— Карузо?! — нетерпеливо спросил Кобленц.

— Нет, Василия Смыслова!

ШАХМАТЫ И ФУТБОЛ



У руководителей футбольного клуба «Падик Гетскиль» (Ирландия) появилась неплохая идея: они предложили футболистам играть в шахматы, чтобы до начала матча культурно отдохнуть и, так сказать, начертать стратегические планы наступления. Ребята с удовольствием играли в шахматы и слишком увлеклись...

Через некоторое время шахматы были отняты у футболистов. В чем дело? Тренер команды заявил, что они вредят команде: с тех пор как футболисты стали играть в шахматы, они слишком долго задумываются над «очередным ходом» с футбольным мячом!

Рисунок Б. Жутовского.



ДЕРЕВЯННЫЙ ДРАКОН

Я провел свой отпуск на Байкале и на всю жизнь запомнил удивительное и величественное море-озеро.

Однажды на безлюдном берегу я увидел выброшенные бурей на отмель деревья. Одно из них напоминало какое-то фантастическое животное. Его я сфотографировал на память о Байкале.

Серпухов. **А. ПИСАРЕВ**



Верхом на дельфине

Многие читали научно-фантастический роман А. Беляева «Человек-амфибия» и помнят, как Ихтиандр, приручив морского дельфина, использовал его для передвижения по воде и под водой. Оказывается, писатель был недалек от истины. На фотографии, взятой из итальянского журнала «Шьенца э вита» («Наука и жизнь»), вы видите человека на дельфине, которого испанцы называют буфео. Научное название его — иния.

Из многих видов дельфинов, существующих на земном шаре, некоторые живут не только в морях, но и в пресных водах больших рек Индии, Китая и Америки. Иния обитает в притоках рек Амазонки и Ориноко. Он может быть легко приручен. Редкий снимок сделан в аквариуме штата Флорида.

Москва. **А. РЕВИН**



БЕЗ СЛОВ.

Рисунок Г. Оганова.

Грибы из теста

Свыше трехсот экспонатов осмотрели на выставке прикладного искусства жители города Серова, Свердловской области. Гвоздем ее явилась небольшая корзинка, доверху наполненная грибами маслятами. Не всякий мог заметить, что грибы не из лесу. Табличка выдавала, что это печенье пенсионерки Марии Ивановны Чебышевой. Разноцветная окраска изделия достигнута мастерицей с помощью желтка и сахарной глазировки. Ножка гриба снизу присыпана зернышками мака, будто лесной землей. Некоторым счастливчикам из посетителей удалось попробовать грибы из теста.

Серов. **А. ГИРЕВ**

Фото И. Грибушина.





Маленький турист

Павлику нет еще и двух лет, а у него уже большой опыт путешествий по чудесным местам Подмосковья. Устроившись на раскладном подвесном стульчике, Павлик и зимой и летом отправляется в воскресенье на прогулки. У юного путешественника «на счету» десятки километров пройденных папой дорог.

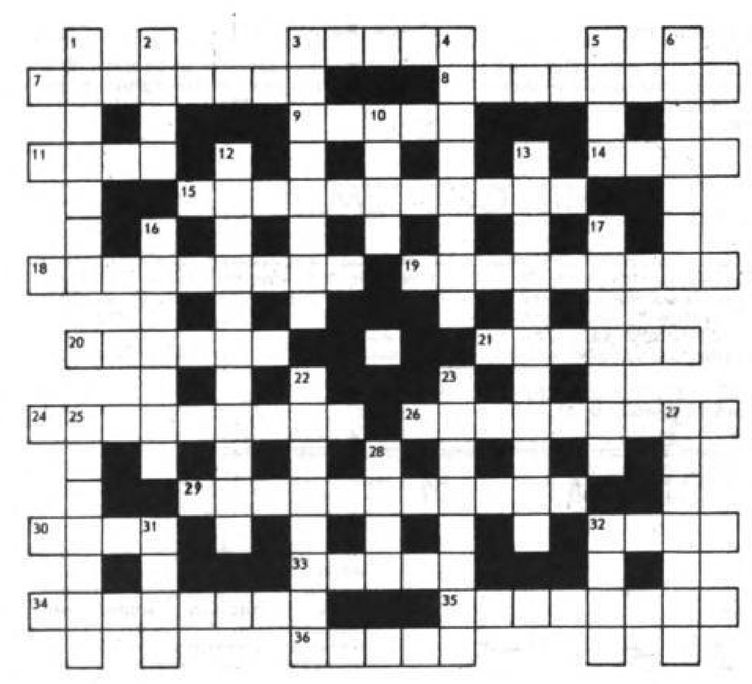
Кто из молодых родителей не знает, как трудно нести на руках малыша! Вот я и сделал походный подвесной стульчик. Каркас его изготавливается из стальной трубки и состоит из дугообразной спинки, поручня, П-образного сиденья и подножки. Все части стульчика шарнирно соединены между собой, фиксирование их в определенном положении производится прочным шнуром. Вес стульчика — полкилограмма. Сиденье и подножка обшиваются плотным материалом.

Остается крепко привязать стульчик к кольцу рюкзака, а еще лучше пришить лямки к спинке, и отправляйтесь в путешествие.

А. ШАРУНИН,
мастер спорта

Москва.

КРОССВОРД



По горизонтали:

3. Спортивная игра с мячом. 7. Современная чешская писательница. 8. Вспомогательные сплавы в металлургии. 9. Персонаж в пьесе А. С. Пушкина «Каменный гость». 11. Ракообразное морское животное. 14. Непаханая земля. 15. Один из авторов Афоризмов Козьмы Пруткова. 18. Раздел медицины. 19. Песня на слова Н. А. Некрасова. 20. Булка. 21. Театральное объявление. 24. Автор первого русского печатного курса математики. 26. Многолетнее луковичное растение. 29. Специалист, изучающий мельчайшие организмы. 30. Чувство меры. 32. Одежда. 33. Название верхнего течения Сыр-Дарьи. 34. Детский киножурнал. 35. Полярный исследователь. 36. Древний город в Малой Азии.

По вертикали:

1. Местность, затопляемая в половодье. 2. Трос на судне. 3. Горная порода, используемая при строительстве дорог. 4. Водяная птица. 5. Голландский живописец XVII века. 6. Восточнославянское племя. 10. Приток Волги. 12. Действующее лицо в повести Н. В. Гоголя «Коляска». 13. Народный артист СССР. 16. Итальянский порт. 17. Старинный поэтический жанр. 22. Один из основоположников армянской фортепьянной музыки. 23. Вершина Урала. 25. Терраса для воздушных ванн. 27. Советская антарктическая станция. 28. Наряд, одеяние. 31. Дерево, дающее техническое масло. 32. Название глубоких долин на Дальнем Востоке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 13

По горизонтали:

6. Прямоугольник. 8. Поступь. 9. Эпиграф. 11. Тимур. 12. Стадион. 13. Скрипка. 16. Топаз. 18. Бумазея. 19. Карст. 20. Вахтангов. 21. Календарь. 23. «Олеся». 25. Корюшка. 26. Локва. 30. Квартал. 31. Салерно. 32. Штамп. 34. Капелла. 35. Обаяние. 36. Регламентация.

По вертикали:

1. Ляпунов. 2. Вольт. 3. Агломерат. 4. Глиэр. 5. Антипка. 6. Посадка. 7. Корсика. 8. Петропавловск. 10. Фокусирование. 14. Суворов. 15. Ремарка. 17. «Знамя». 19. Канал. 22. Мюнхаузен. 24. Скрепер. 27. Океания. 28. Заслуга. 29. Нанайцы. 32. Шалаш. 33. Почта.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ. Редакционная коллегия: Б. В. ИВАНОВ (ответственный секретарь), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. А. КУДРЕВАТЫХ (заместитель главного редактора), Л. М. ЛЕРОВ, Д. Т. ЛОБАНОВ, И. Ф. ТИТОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, Д-47, ул. «Правды», 24. Рукописи не возвращаются. Оформление В. Епанешникова.

Телефоны отделов редакции: Секретариат—Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-39-07; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 3-38-33; Литературы — Д 3-31-83; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 3-38-65; Юмора и сатиры — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-35-48; Оформления — Д 3-38-44; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 00661. Подписано к печати 25/III 1959 г. Формат бум. 70×108¹/₈. 2,5 бум. л.— 6,85 печ. л. Тираж 1 500 000. Изд. № 602. Заказ 671.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, Д-47, ул. «Правды», 24.

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» Н. В. ГОГОЛЯ

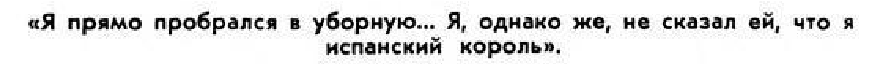
Иллюстрации Н. В. Кузьмина.



Фронтиспис.



«В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я».



«Я прямо пробрался в уборную... Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король».



Депутация из Испании.




Цена номера 3 руб.